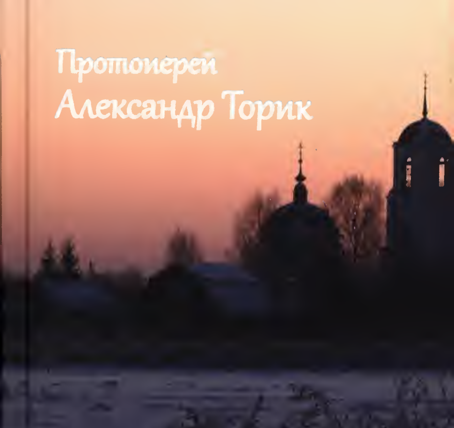


Протоиерей
Александр Торик

Флавиан

Протоиерей
Александр Торик

ФЛАВИАН



«АГИОН ОРОС»
Москва
2011

УДК 82-97+82-312.2
ББК 86.372
Т 60

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви

Стиль и орфография автора сохранены

Торик Александр, протоиерей

Т60 Флавиан: Повесть. — М.: Агион Орос, 2011. — 234 с.
ISBN 978-5-905462-01-6

УДК 82-97+82-312.2
ББК 86.372

ISBN 978-5-905462-01-6

Пастырям добрым,
души свои полагающим за «овцы»,
с любовью посвящается.

ГЛАВА 1. **ВСТРЕЧА**

Из размышлений — взять ли понравившиеся дорогие немецкие туфли или ограничиться, тоже неплохими, но подешевле, итальянскими — меня вывел показавшийся знакомым вежливый голос: «Простите, Христа ради, а ботиночков «прощай молодость» сорок шестого размера у вас нету?»

Обернувшись, я увидел слоноподобного не попа даже, а целого «попищу» в длинной черной одежде, перехваченной широким, особенным каким-то, потёртым кожаным поясом, поверх которой была надета не сходящаяся на необъятном пузе и потому расстёгнутая застиранная джинсовая куртка.

Бархатная, островерхая, бывшая когда-то чёрной, затёртая шапочка венчала заросшую полуседыми кудрями крупную голову. Лицо, обрамлённое редкой, почти совсем седой бородой, было одутловатым, с набухшими мешками под улыбающимися, на удивление умными глазами. И эти глаза с нескрываемым

интересом, притом абсолютно беззастенчиво, разглядывали моё сорокапятилетнее, потрёпанное житейскими бурями, но вполне ещё мужественное, чисто выбритое лицо.

— И ты, Алёша, не помолодел, как вижу. Не узнаёшь?

— Господи, помилуй! Андрюха? Ты?

— Не Андрюха, а батюшка отец Флавиан! — возмущённо сверкнула глазами неизвестно откуда вынырнувшая маленькая шустрая старушка тоже в чёрном, монашеском, наверное, одеянии. Взгляд её был недоверчив и строг.

— Он самый, бывший Андрюха, теперь вот, видишь, иеромонах и настоятель сельского прихода в Т-ской области, четыреста вёрст от первопрестольной.

Поражённый, я вглядывался в загорелое одутловатое лицо, постепенно угадывая в нём всё больше знакомых черт, позволявших опознать в их владельце стройного красавца Андрюху, туриста-гитариста, кумира всех факультетских девчонок и любимца большинства преподавателей, ценивших в нём столь редкие у студентов аккуратность и обязательность, а также быстрый живой ум. Какую карьеру тогда пророчили ему многие, какие престижные невесты мечтали «окольцевать» его! И что же — расплывшийся потрёпанный сельский поп, ищущий «прощай молодость» через двадцать лет после получения «красного» диплома!

— Господи, помилуй! — повторил я столь неожиданное для меня словосочетание.

— Да помилует, раз просишь, помилует, не сомневайся, — рассмеялся Андрюха-Флавиан, — сам-то ты как?

— Да как, как все, нормально, то есть прилично, ну, в общем, всяко, конечно, бывает, а так... да паршиво как-то, если честно. Работа есть, не по образованию, конечно, в коммерции, но зато при деньгах, нет, не крутых, не подумай, но пару недель в году в Испании отдыхаю, квартирку-двушку в Крылатском купил, а с женой уж третий год как разбежались, хорошо, что детей не было, нет, то есть не то хорошо, что у нас их не было, а то, что при разводе никто не пострадал.

— Как никто? А вы-то сами? У вас же с Иринкой такая любовь была, чуть не с первого курса?

— Со второго, на первом я за Женькой бегал, она сейчас многодетная мать, кстати, в церковь ходит, её там Ирина ещё за год до развода два раза встречала.

— А сама Иринка-то что в храме делала?

— Да кто её знает, мы в то время уже и жили каждый сам по себе — она диссертацию писала, я на джип зарабатывал.

— И как, заработал?

— Заработал... через три недели угнали, до сих пор ищут. Сейчас на «Ниве» езжу, так спокойней.

— Ну, брат Алексей, любит тебя Господь, — вновь засмеялся Флавиан-Андрюха, — не даёт до конца погибнуть, лишнее забирает!

— Лишнее не лишнее, а тридцать «штук зелёных» — ку-ку.

— Ого! — посерьёзнел мой бывший однокурсник. — Тридцать тысяч! Это ж наших детдомовцев года три кормить можно по госрасценкам!

— Каких детдомовцев? — не понял я.

— Да наших подшефных, из Т-ского детдома, туда мои прихожанки помогать ходят. Своего персонала там почти нет, зарплата — копейки, да и выдают через пень-колоду, никто туда работать не идёт. Все норовят правдами и неправдами устроиться на новый пивзавод к «хозяину», там хоть и порядки, как в концлагере, зато платят неплохо и без задержек. Зато нам — православным — поле деятельности обширнейшее: деток надо и помыть, и покормить, и приласкать, и книжку почитать, и помочь уроки сделать. Да наши ещё и вещи для них собирают: книжки там, игрушки, деньги, если кто пожертвует, или продукты. Директор на наших «тёток» прямо молится. А потому и разрешает с детьми Закон Божий учить, батюшку, то есть меня, к ним приглашать, водить детей в храм на службу и к Причастию. Ко мне в храм ехать не ближний свет, да и дороги — «фронтовые», так что причащать их в городскую церковь водят, к отцу Василию. А он, жалостливый, после службы детей всегда

чаем поит с печеньками там, конфетками. Они его сильно любят за доброту. А детей Сам Господь любит, того, кто им благотворит, Он Своей милостью не оставит.

— Не знаю. Кого, может, и не оставит. А мне вот не дал твой Господь детей, а твоим детдомовцам родителей, ну и где ж тут Его милость?

— Лёш, а если честно, ты сам-то детей хотел иметь?

— Если честно, сперва не хотел, сам понимаешь — денег нет, квартиры нет, Ирка — аспирант, я — молодой специалист. Да потом и в поход хотелось, и на «юга», и по театрам, ну какие уж тут дети! Ирка после четвёртого аборта, когда в пятый раз «залетела», решилась, было, рожать, да тут тёща наконец-то свои шесть соток получила, восемь лет ждала, участок нам подарила — надо было что-нибудь построить, ну, мы опять решили подождать с детьми. А после уж, видно, твой Бог не давал. Да и разбежались вскоре.

— Что уж на Бога клеветать, Лексей, Он вам пять раз детей давал, вы же сами их всех поубивали. А потом перестал и предлагать, потому, может, чтоб вашими детьми наш детдом не пополнять.

— Ты уж скажешь, Андрей, — «поубивали», прямо, мы с Иркой монстры какие-то. Да сейчас все аборты делают — не в каменном же веке живём!

— Не все. Та же Женька — многодетная, причём рожать начала сразу после института, тоже ведь со своим Генкой молодыми специалистами были, хлебнули

бедности, конечно, зато сейчас четыре дочки-красавицы да наследник — боец восьмилетний, родители не нарадуются. И кстати, ни одного аборта Женя не делала, я знаю. А ты говоришь — каменный век! Да в древности-то люди как раз каждого ребёнка ценили, за Божий дар почитали. Бездетность как Божие проклятие воспринимали. Это сейчас — «безопасный секс», «планирование семьи» и прочая требуха словесная, а за ней, как за фиговым листком, лишь желание грешить безнаказанно.

— Всё вам, попам, — грех, куда ни плюнь, что ж теперь не жить что ли?

— Да нет, живи, пожалуйста, живи и радуйся, только себя да других не калечь. Этому, собственно, Церковь и учит.

— Интересно с тобой говорить, Андрюша, на всё у тебя ответ есть.

— Не Андрюша, а отец Флавиан! — вновь возмущённо вспыхнула старушка-монашка.

— Мать, не шуми, — успокоил её Андрей-Флавиан, — пусть зовёт, как ему привычней. Алёш! Ты на неё не обижайся. Она ворчунья страшная, но всё по любви, от полноты сердца.

— Да нет, я не обижаюсь. Прости, не привыкну ещё: ряса, приход, детдом, отец Флавиан. Как из другого мира.

— Да, собственно, из другого и есть, ну об этом потом, если Бог даст. Алёш, извини, мне ехать пора, я на своём

«козле» до дому и так лишь ночью доеду, а мне ещё в два места заскочить. Вот тебе «из этого мира» визитка моя, тут адрес, телефон, к сожалению, только мобильный — место у нас глухое, не телефонизировано. Ты, может, в гости когда надумаешь, у нас рыбалка — я помню, ты любил — знатная. Баньку деревенскую тебе организую, мне нельзя теперь — сердце. Ну и мало ли, может, жизнь так прижмёт, что потянет кому душу излить, так это моя профессия — души-то. В общем, будь здоров, думаю — увидимся.

— Счастливо, Анд... отец Флавиан! Ой, подожди! Возьми вот для детдомовцев твоих сотку «баксиков», купи им чего-нибудь за моё здоровье.

— Спаси тя Господь, Алёша! Будем за тебя молиться с детьми.

— Да ладно! Счастливо!

И глядя, как мой бывший однокурсник уносил свои прикрытые потрёпанной рясой многие килограммы, опираясь на палочку и слегка прихрамывая, сопровождаемый что-то ему взволнованно говорящей чёрной старушонкой, я в третий раз за час произнёс новые для меня слова:

— Господи, помилуй! Ну, дела!

Туфли я взял итальянские.

Андрей-Флавиан оказался пророком. Жизнь прижала гораздо раньше, чем я мог предполагать. И прижала так, что я чуть не взвыл.

Во-первых, вся моя весьма прилично оплачиваемая работа оказалась под вопросом. На руководство «наехали» ревизоры, аудиторы, все виды проверок, счета нашей фирмы арестовали — началась какая-то большая закулисная игра вокруг больших денег. Всему нашему отделу было предложено уйти в неоплачиваемый отпуск. Ориентировочно — на месяц. Но большинство моих коллег мигом отправили свои резюме в Интернет. Некоторые начали искать новую работу по знакомым.

Я же, будучи измотан внеплановыми командировками и плановым ухаживанием между ними за оператором счётного отдела Леночкой, за последний месяц умотался вконец и ещё до начала событий хотел просить неделю за свой счёт. Поэтому, плюнув на неопределённость своего положения, положившись на некоторые сбережения, могущие в самом худшем случае продержать меня на плаву какое-то время, я решил не суетиться с работами и сколько-нибудь отдохнуть.

Во-вторых, мои трёхмесячные «интеллигентные» ухаживания за Леночкой потерпели сокрушительный крах. Леночка променяла меня на... даже не буду говорить кого, уж очень обидно.

В-третьих, какая-то шпана ограбила мою новенькую «Ниву». Вытащили магнитолу, вырвали «с мясом» дорогие немецкие динамики, забрали хороший

набор ключей (тоже немецкий) и, непонятно зачем, порезали сиденья и подпалили дверцу бардачка. Ущерб не смертельный, но... уж очень как-то гадко от всего этого.

В-четвёртых, позвонила бывшая жена Ирина и сквозь слёзы сообщила, что у неё нашли какую-то быстро увеличивающуюся миому, нужна срочная платная операция, стоит она больших денег и не могу ли я эти деньги ей одолжить. Причём без гарантий возврата, так как: «Если я умру, то некому тебе будет отдать твои деньги...»

Деньги я дал. В моих сбережениях «на чёрный день» пробита огромная брешь.

В-пятых, обострилась непонятная тоска на душе, от которой иногда, даже при всём внешнем благополучии, вдруг хочется залезть в петлю или, по крайней мере, напиться до потери сознания. Пить много я не могу — организм противится и бунтует. В петлю не хочу — страшно. Тупик.

Всё это произошло в течение двух недель после моей встречи с Андреем-Флавианом, которая за обвалом вышеупомянутых событий как-то поблекла, стушевалась и отошла в область почти забытого.

На его визитку я наткнулся случайно, когда уронил портмоне, покупая сигареты. Уставившись на неё невидящим взглядом, я долго соображал, что это и как оно ко мне попало. Воспоминание пришло вместе

с ощущением какой-то неясной надежды непонятно на что, но на что-то, давно ожидаемое и хорошее.

Решение пришло сразу — на всё плюнуть, в багажник удочки и банное обмундирование, купить карту Т-ской области и... словом, далее понятно.

Дождавшись вечера, звоню:

— Андрей, ты? Алексей. Твоё приглашение в силе? Завтра рано утром хочу выехать!

— Ты на своей машине? Тогда за Н-ском на четвёртом перекрёстке поверни налево. Сэкономишь сорок километров плохой дороги. В селе подъезжай к храму. Жду.

На следующий день солнечное июньское утро застало меня пересекающим Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Пришпоривая отзывчивую на педаль газа машину (турецкие чехлы скрыли отвратительные резаные раны сидений, корейская магнитола с китайскими динамиками гремела «Аэросмитом», в багажнике позвякивали китайские же ключи), я почему-то ощущал необъяснимую лёгкость, словно что-то липкое и тяжёлое отпустило меня, а впереди ждала какая-то радость. Решив не мучить голову самоанализами, я отключил мыслительные способности и только подпевал Стиву Тайлеру: «Crazy, crazy...»

К двум часам дня я уже промахнул две трети дороги и подъезжал к Н-ску.

ГЛАВА 2. **КАТЮША**

Н-ск произвёл на меня просто целительное впечатление. Словно неожиданно в кладовке находишь своего любимого в детстве старого плюшевого Мишку — удивление и радость, и наплыв трогательных воспоминаний.

Этот древнерусский городок, с его одно-двухэтажными улочками, многими, чудом избежавшими большевистского динамита, древними церковками, доброжелательными жителями, чьи лица совершенно лишены каиновой печати московской «крутости» и жестокосердной обречённости, был трогателен и уютен. Мне, родившемуся и большую часть жизни проведшему в Сокольниках, он показался какой-то настоящей родиной, той, которая, очевидно, глубоко живёт в сердце каждого русского человека.

Расслабившись после сытного, за совершенно смешные для москвича деньги, обеда в местном «Погребке», я позволил себе полчасика погулять по старому

центру города и полюбоваться кондовыми купеческими постройками, изукрашенными «навороченной» резьбой карнизов и оконных наличников, прошёлся под длинной колоннадой торговых рядов. Затем посидел в заросшем черёмухой и бузиной полузаброшенном маленьком парке высоко над неширокой и какой-то кроткой речушкой, глубоко вдыхая всей грудью не отравленный никакими промышленными монстрами воздух и вместе с ним — удивительные для меня покой и безмятежность.

Тридцать километров до указанного мне четвёртого перекрёстка я проскочил одним махом.

Повернув, я увидел голосующую мне, полную, опрятного вида пожилую женщину, рядом с которой стояла стройная, даже, пожалуй, худенькая (ох уж этот мужской взгляд!), миловидная девушка, лет восемнадцати на вид, с грустными глазищами необычной глубины и яркости, пугливо выглядывающими из-под надвинутого на самые брови светлого платка.

— Сыночек! Ты не в сторону Покровского едешь?

— В самое Покровское. Подвезти?

— Подвези, голубчик, Христа ради. Услышал мои молитвы Никола, Угодничек Господень: послал нам тебя — ангела своего! Два уж часа стоим здесь с Катюшей — и ни одной машины в ту сторону. Автобус-то в Покровское только по выходным регулярно ходит, и то

благодаря батюшке Флавиану — убедил как-то начальство, чтоб люди на всенощную да к обедне могли добираться. А по будням — беда. То один автобус в день, а то и ни одного. Вот попутных и ждём, да Николе Угодничку молимся — он путешествующим первый помощник.

— Садитесь, садитесь, заодно и дорогу покажете, я тут впервые.

— Катюшенька, милая, садись туда, сзади, да сумочки прими, а я тут, с сыночком рядом, устроюсь, спаси его Господь и Пресвятая Богородица!

Продолжая воркотать, женщина пропустила в глубь «Нивы» свою Катюшу, пристроила рядом с ней авоськи с баночками и свёрточками и взгромоздилась рядом со мной, тут же тщательно пристегнувшись ремнём безопасности.

Тронулись. Попутчица справа оказалась словоохотливой.

— Сыночек, прости любопытную, ты не из Т-ска будешь?

— Из Москвы, матушка.

Мне вдруг почему-то захотелось назвать её этим, каким-то хорошим, русским словом — «матушка».

— Что ты, сынок! Я не матушка, я — мирская.

И, словно догадавшись о моём недоумении, пояснила:

— Матушками, сынок, в церкви монахинь зовут, вот как мать Серафиму, келейницу батюшки Флавиана,

или супругу священника. А я что, какая я матушка? Так — Клавка-грешница.

— Клавдия, значит. А по отчеству?

— Ивановна. Иван Сергеичем отца звали.

— Клавдия Ивановна, а вы отца Флавиана давно знаете?

— А ты сам-то, сынок, к нему, никак, едешь?

— К нему. Мы с ним в институте вместе учились. Отдохнуть пригласил.

— Слава Тебе, Господи! Правильно едешь! У батюшки, дорогого Флавиана, самое душе отдохновение и утешение. Я его, почитай, шестой годок знаю, вот как впервой к нему с Катюшенькой приехала, с тех пор и знаю. Сильно замечательный батюшка. Любовь в нём к людям большущая! Бесы его сильно ненавидят.

За моей спиной глухо проворчала собака.

— Клавдия Ивановна, а места там, в Покровском, красивые?

— Сам, сыночек, увидишь. По мне, так там — рай земной, церковь — чудо, замечательная, не закрывалась никогда, иконы старинные, намолённые, благодать несказанная, вокруг церкви матушка Серафима с Ниной, женой лесника, цветов насадили — что твоё Дивеево. Да сортов разных, ранних и поздних, цветут, почитай, от самой Пасхи и аж до после Покрова, красота, аромат стоит — как есть рай земной. Да вон за тем пригорочком уже и видно будет, почти уже и прие-

хали. Слава тебе, Господи, за всё! Молитвами святых твоих и батюшки отца Флавиана, помилуй и спаси нас!

Собака сзади снова приглушённо зарычала.

И вдруг, одновременно с пронизавшим меня ледяным холодком, в мозгу ясно высветилась мысль: «Откуда в машине взялась собака?»

В мгновении ока в памяти моей промелькнули все виденные мною фильмы ужасов, в которых красивые девушки превращаются в волков, вампиров и прочую нечисть. Мне поплохело.

С замиранием сердца я заставил себя посмотреть в зеркало заднего вида, ожидая увидеть вместо миловидной Катюши всё, что угодно. Катюша была на месте. Глаза её были опущены вниз, губы слегка шевелились. Прислушавшись сквозь гул мотора, я услышал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй...»

Я скосил глаза на Клавдию Ивановну, безмятежно копающуюся в кошёлочке, и немного успокоился.

Машина взобралась на вершину поросшего разнотравьем пригорка, и передо мной открылся очаровательный, типично среднерусский, неброский, но удивительно красивый пейзаж.

На берегу довольно большого озера с вытекающей из него узкой вертлявой речушкой, словно грибы на полянке, виднелись там и тут выглядывающие из яблоневых садов, крытые дранкой крыши некрашеных деревянных домиков, отсвечивающих характерным для

старого выветренного дерева серебристым оттенком. На первый взгляд, домов было не больше тридцати-сорока.

В центре селения белела небольшая пятиглавая церквушка с шатровой колоколенкой, очевидно, семнадцатого, а может, и шестнадцатого века (в конце концов, не искусствовед же я, хоть и пролистал с десяток альбомов по древнерусской архитектуре), похожая на игрушечную своей нарядной узорчатостью и свежей побелкой.

— Матушка Владычица! Святым Твоим Покровом не остави нас! — вздохнула, перекрестившись, Клавдия Ивановна. — Вот оно — Покровское. Сейчас, сынок, через мостик, потом за горочку и налево, мимо колодца, а там и храм, и батюшка дорогой.

Следуя указаниям «штурмана», я подкатил к сверкающим на солнце белизной церковным воротам с коваными решётчатыми створками, закрытыми на замок, который стал бы гордостью экспозиции любого музея кузнечного искусства.

За воротами я увидел вход в колокольню, обрамлённый роскошным цветником, в котором бросались в глаза гигантские мальвы всех самых невообразимых оттенков.

Предоставив Клавдии Ивановне самой выкарабкиваться из не самой для неё удобной дверцы, я молодецки выскочил из-за руля, откинул водительское сиденье и галантно подал руку симпатичной Катюше. Она не отвергла мою любезность и осторожно выбра-

лась наружу, вцепившись в моё запястье необычайно холодными, подрагивающими, как в ознобе, неожиданно сильными пальцами. Огромные глаза её как-то вдруг потускнели, а зрачки расширились до предела. На хорошеньком лице застыла гримаса, как от зубной боли, что-то похожее на сдавленный стон вырвалось сквозь стиснутые побелевшие губы.

— Приехал! Ну, ты, брат, и быстро! Мы тебя к вечеру ждали. О! Да ты и пассажиров знакомых привёз. Заходите, с миром принимаем! — голос Флавиана-Андрея вывел меня из тревожных размышлений о том, не придётся ли сейчас ехать за врачом или, ещё хуже, вести заболевшую Катюшу в больницу.

— Здравствуй, Ан... отец Флавиан! Сейчас, сумки возьмём. Машину здесь оставить можно?

— Оставляй, можешь не закрывать даже. Кроме кошки, никто не залезет — не Москва тут.

Мой бывший однокурсник выглядел гораздо свежее и радостнее, чем в прошлую встречу, видно было, что здесь он прекрасно чувствует себя в привычной, явно благоприятной для него атмосфере. Он подошёл, прихрамывая, и распахнул калитку:

— Добро пожаловать! Катюша, сможешь сама зайти?

— Пошёл ты... гад, гад, гад! Флавиашка мерзкий! Опять жечься будешь?! Жгись, жгись! Мы тебе пожгёмся!!!

Я просто остолбенел от ужаса, услышав этот вырвавшийся из страшно оскалившегося Катюшиного ротика, исполненный нечеловеческой ненависти, остервенелый, не крик даже, а рёв звериный. Вновь мгновенным холодом прохватило от спины всё моё естество. Я замер в шоке, не понимая, что происходит.

Девушку словно втиснули в решётку воротной створки, её худенькие пальчики, вцепившиеся в прутья решётки, были совершенно белы от напряжения, тело вздрагивало, как будто от сильных ударов, хриплый мужской, явно не её, голос надрывно кричал:

— Катька! Дура! Беги отсюда! В больницу беги, хочу в больницу! Беги, дура! Я уколов, уколов хочу! Флавиашка, гад! Ай! Сергий идёт! Ненавижу! Ненавижу! Всех ненавижу! В огонь вас! Всех в огонь! Ненавижу!

Обернувшись, я увидел отца Флавиана, очевидно, уже сходившего куда-то, так как на нём были одеты какой-то длинный сдвоенный фартук с крестами и короткие нарукавники, тоже с крестами. В руках он нёс маленький мешочек из золотой парчи и небольшую потёртую книжку. Вид его был деловит и спокоен.

Парализованный происходящим, я безмолвно созерцал.

Едва Флавиан подошёл к несчастной, бьющейся о решётку девушке, как с голосом произошла разительная перемена:

— Не надо, Флавнаша, не жгнсь, — голос зазвучал тнхо, с ласковыми довернтельными ноткамн. — Ну зачем ты с нами так! Не трогай нас — здоровым будешь, денег много даднм, епнскопом станешь!

Флавнан, не обращая вннмання на эту перемену, быстро положнл на голову несчастной девушкн свой золотой мешочек и тут же накрыл его концом своего фартука, прнжав к Катюшнной голове. Раскрыв, очевндно, заранее заложенную в нужном ему месте кннгу, он начал быстро н негромко речнтатнвом: «Бог богов, Господь господей...»

Страшный вопль сотряс напряжённый воздух:

— Не выйду! Ай! Сергнй! Ай! Не жгнсь! Не выйду! Флавиашка, гад! Ай! Сергий! Не выйду! Всех в огонь! Ненавижу!!!

Невзирая на эти леденящне кровь крнкн, на бение н судороги напрягшегося девичьего тела, отец Флавнан продолжал читать свою молитву, и с каждой фразой крики становилнсь реже, судорогн тнше, н вдруг — точно из неё внезапно выдернулн стержень — Катя охнула и, как подрубленная, рухнула к ногам Флавиана. Он как нн в чём не бывало закрыл свою книжку, сунул её в бездонный карман своей шнроченной рясы, со вздохом нагнулся, поднял нз травы упавший с головы Катюшн золотой мешочек, перекрестился, нежно поцеловал его н с удовлетвореннем произнёс:

— Благодарю тя, отче преподобне, яко не оставляешь нас еси.

Затем с улыбкой повернулся ко мне:

— Испугался? В первый раз всегда страшно. Да, в общем-то, и не только в первый.

Я, потрясённый только что виденным, начиная приходить в себя, спросил: «Андрей, это что, вообще, сейчас было?»

— Не Андрей, а батюшка! Батюшка отец Флавиан! — старая знакомая вновь появилась неизвестно откуда. — Беса батюшка сейчас прогнал из Катеньки, вот что было! С приездом, молодой человек!

— Не я, мать Серафима, прогнал, сколько раз тебе повторять, а Господь, молитвами преподобного Сергия. Здесь, — он показал мне тот парчовый мешочек, — мощевик с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Он против бесов великий победитель был. Они ещё при земной его жизни от одного его приближения разбегались. И сейчас его жутко боятся, когда он, по молитве к нему, помочь приходит. А уж мощи его для них — уголь раскалённый. Да, собственно, ты сейчас и сам всё видел.

— Да уж... батюшка Флавиан... видел. Чуть головой не повредился. А у тебя здесь часто такое?

— Бывает. Да ты не бери в голову. Расслабься. Я тебе потом про всё это объясню. Пойдём с дороги чай пить. Мать Серафима! Поставь самоварчик!

— Уже стоит, батюшка, может, гостям борщичка с дороги, поди, оголодали?

— Вот это правильно, мать! Давай им борщичка твоего монастырского. И рыбки какой-нибудь. Извини, Алёша, мы мяса не едим. Я тебя потом к Семёну-леснику на довольствие поставлю, уж он тебя утешит и дичинкой, и домашнинкой, в общем, обижаться не будешь. А пока уж нашего монашеского постного борщичка похлебай для разнообразия.

За разговором все, казалось, забыли о несчастной Катюше, продолжавшей лежать без чувств в траве у ворот. Даже явно обожающая её Клавдия Ивановна, не обращая на Катюшу ни малейшего внимания, спокойно разбирала свои вынутые из «Нивы» авоськи.

Я нагнулся, было, помочь ей подняться, но её тело абсолютно безжизненно повисало при попытках приподнять её из травы.

Флавиан подошёл:

— Алёша, подожди, — и, взяв её за руку, — Екатерина, встань!

И тотчас же тело девушки выпрямилось, и она, прямая, словно оловянный солдатик, поднялась на ноги. Глаза её открылись и, наполнившись благодарными слезами, сияя радостным светом, устремились на отца Флавиана.

— Батюшка, дорогой! Спаси Вас Господи! Здравствуйте, батюшка! Благословите!

— Здравствуй, Катюша! — н, осеняя её как-то хнтро сложенымн пальцами правой рукн, крестообразно касаясь лба, сложенных ладошек, правого и левого плеча, произнёс: «Благодать Господа Бога и Спаса нашего Инсуса Хрнста на рабе Божней Екатерние! Христос посреди нас!»

— И есть, н будет, батюшка!

— К причащению готовнішься?

— Постнлась, батюшка. Сегодня каноны начну читать.

— Ну, помогай, Господь. Готовься. Клавдия! Ты там совсем закопалась! Берн Катюшку, идём трапезничать!

— Идём, батюшка любимый наш, идём! Сейчас, вот только рыжнки никак не найду к столу-то, любнмые вашн. Ох, грешница я окаянная! Не благословнлась ещё! Благословн, честный отче, н простн меня грешную!

— Благодать Господа нашего... — Флавиан повторнл своё благословенне, преподанное Катюше.

— И есть, и будет! Вспомнила, батюшка, онн в пакете, я его ещё из машнны не вынула!

И, громко чмокнув благословившую руку, она, переваливаясь, словно утнца, побежала к оставленной за воротамн машнне.

После неплотного, но какого-то уж очень вкусного ужина («борщичок» и карасн, жаренные матерью Се-

рафимой в сметаие, были просто «нечто») мы с отцом Флавиаиом сели передохнуть в малеиькой, очеиь изящио и со вкусом вырезанной деревяииой беседке («Золотые у Семёиа руки», — вздохиул Флавиаи) в уютном уголке церковиого садика-дворика.

— Слушай... отец Флавиан! Объясии ты мие, Бога ради, что это всё-таки было с Катей, у меия из головы иикак ие идёт этот крик жуткий, ведь и голос-то явио ие её был. Как такое может быть? Оиа что, психически больиая?

— Одержимая она.

— Что такое «одержимая»? Переведи иа поиятиый мие, безбожиику, язык.

— Попробую, Алёш. Вот ты представь себе, что к тебе в квартиру ворвались баидиты, избили тебя, связали. Валяешься ты иа полу беспомощиый, а они из твоего холодильиика продукты едят, твоё виио пьют, по твоему телефону мобильному разговаривают. А ты лежишь связаиный, с кляпом во рту и иичего сделать ие можешь. Вот в этом положеиии ты и есть одержимый. То есть тот, кого держат в своей власти. Как раба. Так вот баидиты эти — бесы. А квартира — тело человека. Ясио?

— Нет. Кто такие бесы? Это что, как в сказке, чёртики такие с рожками и копытцами, что ли?

— Нет, конечно. Если уж с художествеиными произведеииями сравнивать, то уж лучше с фильмами ужасов, помиишь, как там демоиов изображают?

— Помню. Иногда очень даже впечатляюще, аж холодит.

— А когда Катя кричала, не холодило?

— Ещё как! Был момент, думал меня от ужаса парализует.

— Вот видишь — чувство одно и то же возникает, а почему?

— Почему?

— Да потому что те киношные демоны почти что с натуры изображены. И многие среди режиссёров и художников голливудских с ними, бесами, личный опыт общения имели: кто через наркоту, кто через занятия оккультизмом. А некоторые так сознательно им и служат. Только самый впечатляющий киношный образ — лишь жалкое подобие того, что бесы в реальности собой представляют. Примерно как рисунок и оригинал. Да, собственно, ты это немножко и сам ощутил. Ты ведь видел, как у Кати лицо изменилось?

— Видел.

— А голос был чужой?

— Чужой.

— Ну а чей же, учитывая все сопутствующие ощущения?

— Наверное, его — демона... Тьфу! Слушай, я сейчас, кажется, в бесов поверю... Но подожди! Вот ты говорил про одержимость на примере квартиры и бандитов. Звучит убедительно. Но... А если я дверь не

открою, никто ко мне и не ворвётся. Дверь у меня, к примеру, стальная, и глазок есть. Я же сначала посмотрю в глазок, а потом уж либо пущу, либо нет. Где же тут сходство?

— Самое прямое. Я недавно в газете читал... что ты так посмотрел? Я газеты некоторые иногда читаю, как пастырь я должен иметь информацию о том мире, в котором моя паства живёт. Прочитал я, что квартирные грабители начали новый трюк применять. Они и раньше то почтальонами прикидывались, то сантехниками или электриками. А тут звонят тебе, например, в дверь. Ты в глазок свой смотришь, а за дверью симпатичная молодая девушка стоит с букетом цветов. Ну ты подумаешь, этажом ошиблась или подъездом, надо ей помочь, подсказать, а то, может, по-холостяцки и в гости пригласить. Открываешь дверь, а с боков — братки стриженные, ты и охнуть не успеешь. Также и в духовной жизни. Бесы, они же тебе хари-то свои страшенные не покажут сразу. Они тебе симпатичненький грешок какой-нибудь заманчивый предложат, вроде: кольнись героинчиком — удовольствие получишь, а не понравится, мол, так и не будешь больше. Главное — попробуй, дверь в душу приоткрой, ну хоть щёлочку. А остальное для них — дело техники, опыт у них многовековой.

— Слушай, а как же Катя, она что, тоже сама эту дверь открыла?

— Катя? Катя... сама, конечно, бедняжка. Так, чтобы как она, — сразу одержимой стать, — нечасто, слава Богу, бывает. Это надо по-крупному подставнться, чтобы бес сразу вошёл. А она подставилась. Только прошу тебя (тут секрета, правда, нет, то, что я тебе про неё расскажу, это весь К-ч знает, нстория громкая была), ты, главное, прн ней вида не подавай, что знаешь, ей н так тяжко людям в глаза смотреть, не считая от беса мучений.

— Я постараюсь.

— Постарайся. Так вот: она в пятнадцать лет снротой осталась, мать от пьянства умерла, а отца она сроду н не знала, других родных нет, а чиновникам наплевать. И братнк у неё был, шести лет. Вот они вдвоём в квартнре н жнлн. Сам понимаешь: для наркоманов К-скнх нх квартнрка — местечко лакомое. Вот н подсадили девчонку на иглу. Как обычно, первая доза бесплатно, потом, как втянулась, квартнра прнтоном стала, каких мерзавцев там только не побывало, за геронн н девственность продала. А один раз, во время ломкн, братика своего каким-то «чёрным» за дозу отпустнла.

— «Чёрным» — это кавказцам, что лн?

— Этого даже следователи не выяснили. А она и описать не смогла: «чёрные», говорнт, были н всё. Вот и понимай, как хочешь: то ли негры, то лн кавказцы, то ли ещё кто. Одним словом, нашлн его через день в парке мёртвого, всего исколотого и обескровленного. Она,

когда его в морге увидела, сознание потеряла и четыре дня в себя не приходила, мальчишечку умученного так без неё и похоронили. А очнулась уже такая, как сейчас. Одержимая. Бес ведь не просто так входит в человека, чтобы только посидеть. Его задача — всё существо человека, и душу и тело, погубить. В вечные муки ввергнуть. Вот и с Катей так. Сейчас уж четвёртый год как полегче стало. А то ведь поначалу два раза вены резала, из петли вынимали, под машину кидалась. Для бесов ведь лучше нет, чем человека до самоубийства довести — адские муки обеспечены. Счастье Катюшки, что Господь ей Клаву послал, иначе погибла бы точно.

— А Клавдия Ивановна кто ей будет, родственница?

— Да нет. Просто раба Божья, сестра во Христе. Клавдия после выхода на пенсию санитаркой подрабатывала в «психушке», куда Катю уложили после очередной попытки самоубийства. Она, как Катюшкину историю узнала, очень её пожалела. Так вместе из больницы и ушли: одна выписалась, другая уволилась. У Клавдии и живут вместе с тех пор. Она Катюшку и с Богом познакомила, и в Церковь привела. Возит несчастную по святым местам, молится за неё, дай-то Бог, чтобы все за своими родными так ходили, как Клавдия за Катюшей.

— А скажи, отец Флавиан, что ж, Катя теперь всю жизнь так мучиться будет?

— Господь знает. Хотя когда были они в Почаеве, это монастырь такой на Украине, они туда к старцу ездили, к схиигумену Г-лу, чтобы про Катину беду спросить, встретила их у ворот монастыря юродивая, смотрит на Катю и поёт: «Шесть годочков — Мишеньке, шесть годочков — Катеньке». Спела несколько раз, перекрестила Катю и убежала. Братика её как раз Мишей звали и было ему шесть лет. Толковать-то слова блаженной можно, конечно, по-разному, но возможно, что Катюше Господь шесть лет за её грех судил мучимой бесом быть. Однако утверждать это не возьмусь, мне, грешнику, Промысел Божий не открыт. А старец, кстати, их не принял. Передал через келейника, что они уже получили то, зачем приехали. А что он имел в виду: то ли Благодать Божью от мощей Иова Почаевского, то ли эти слова блаженной — понимай, как знаешь. Ну, ему видней, отчего он так сказал.

— Слушай, а то, что ей сейчас легче стало, это надолго?

— Как Бог даст. Может, на месяц-другой, а может, и на недельку. Тут не предскажешь.

— Всё! Батюшка, отец Флавиан! Все контакты в голове уже оплавились. А я-то свои проблемки за беды считал! Ну уж если это не «шоковая терапия», то я уже ничего в жизни не понимаю. Всё. Перегруз. Отпусти, как говорят, душу на покаяние. Мне бы сейчас сто грамм — и в койку. Я «готов». Вон уж и темнеет.

Флавиан порылся в недрах своего бездонного поповского кармана, извлёк оттуда какой-то крошечный для его ручищи телефон, нажал кнопку.

— Семён! Бог благословит. Ты в лесу? Дома? Сейчас к тебе мать Серафима одного раба Божия приведёт, приюти, Христа ради. Скажи Нине, что я благословил ему сто грамм той, которая у неё на зверобое с мятой. И груздочка да капустки с клюковкой, ну она сообразит. А спать положи его на чердаке в сенцо, московский дух выветривать. Спаси тя Господь с твоей благоверной Ниночкой.

Так, как я спал в эту ночь, я спал только в далёком детстве.

ГЛАВА 3. СЕМЁН

Пробуждение было похоже на сон. То есть, проснувшись, я подумал, что всё ещё сплю и что таких прекрасных снов я, пожалуй, ещё и не видел.

Во-первых, я проснулся на ложе из свежего, необыкновенно нежного и душистого сена, благоухающего самыми невообразимыми ароматами недавно скошенных трав и полевых цветов. Я просто утопал в этих ароматах, которые в сочетании с чистым деревенским воздухом оказывали на меня воздействие, близкое к опьяняющему.

Во-вторых, следующее, что мои пробуждающиеся органы чувств уловили после всепроникающего аромата, была музыка. Ещё не открыв глаза, лёжа и ощущая, как с каждым вздохом из моих лёгких улетучиваются остатки смрадных миазмов, именуемых городской атмосферой, я услышал музыку.

В городе, просыпаясь, я тоже слышал «музыку». Если только можно называть музыкой адскую какофо-

нию тяжёлого рока, состоящую из непрекращающегося даже ночью рёва-гула машин за окном, лая несчастных из-за неестественной среды обитания городских собак, которые давно уже стали для большинства своих городских хозяев теми самыми «ближними», которых эти хозяева возлюбили «как самих себя», а временами даже сильнее (но уж точно сильнее, чем окружающих людей).

К собачьему лаю, особенно усиленному акустическим эффектом «колодцевого» расположения большинства многоэтажек, примешиваются радостная матерная ругань и крики напившейся «Клинского» и других сортов пива продвинутой молодёжи, грохот мусоровозов, регулярная дробь отбойного молотка со стороны хронически ремонтирующейся теплотрассы, топот соседей и грохот передвигаемой мебели над головой. «Лирическую ноту» вносят вопли психически больной соседки за стеной слева, мерзкое шипение Бори Моисеева про то, что он «не такой, как все» из квартиры соседа той же ориентации за стеной справа (вот ведь придумали же слово «ориентация», звучит так же невинно, как кружок спортивного ориентирования по компасу на пересечённой местности). Плюс завывания лифта и особо музыкальные звуки мусоропровода, когда по нему летят, разбиваясь, бутылки и прочие звонкие предметы.

Словом, тьфу! Городским жителям рассказывать ни к чему — сами знают, а сельским об этом лучше и

не знать (или, наоборот, знать, чтобы ещё раз подумать, прежде чем рваться в город за комфортом и деньгами).

Так вот, проснувшись на чердаке у лесника Семёна, мой мозг, привычно изготовившийся к отражению шумовой атаки города, вдруг растерялся от отсутствия необходимости включать какие-то свои защитные механизмы, без которых психика горожанина разрушалась бы со скоростью падающего самолёта.

Звуки, которые обласкали мой слух при пробуждении, были чудной божественной симфонией, в которую вплетались щебетание и пение разноголосых птиц, тихий шорох ленивого ветерка по крыше над моей головой, поскрипывание колодезного ворота и звон воды, льющейся в подставленное ведёрко.

Далёкий крик петуха вносил свою мажорную нотку в рассыпчатое шуршание берёзовых ветвей, стрекот кузнечиков, приглушённо-солидное гудение пушистого шмеля, ревизующего остатки пыльцы в подсохших васильках над моей головой.

И сквозь все эти убаюкивающе-ласкающие звучания умильно-проникновенной мелодией, подобно робкому ручейку, протекал кроткий голосок Нины, Семёновой жены, напевающий что-то щемяще-церковное: «Цари-ца моя преблага-а-а-ая...».

Добавить к запахам и звукам весёлые солнечные лучики, пронизывающие полусвет чердака, лоскуток

голубизны утреннего неба в открытом световом окошке, свисающие со стропил букеты сушёных трав и цветов, прабабушкину расписную прялку вместо ночного столика — и вы, возможно, поймёте, что проснулся я в сказке. Вниз я спустился нехотя.

— Доброго утречка вам, Алексей, как вас по батюшке величать? — загорелое лицо Нины светилось искренним радушием.

— Просто Лёша, Ниночка, Бога ради! Мы ведь с вами, небось, одногодки.

— Вряд ли, Алексей, мне через месяц пятьдесят шесть стукнет, если даст Господь дожить! А вам-то, поди, и пятидесяти нет?

— Сорок пять, вот, недавно исполнилось. Ниночка! Как же вы умеете так молодо выглядеть? Наверное, диету какую-нибудь народную знаете?

— Что вы, Лёша! Пост да молитва — вот вся наша диета. Просто здесь жизнь здоровая, воздух чистый, вода колодезная, пища без химии. Если водку не пить постоянно да не грешить стараться, так и выглядишь лучше и живёшь дольше. Я-то — грешница окаянная, а вот бабушка моя, Софья, Царство ей Небесное, до ста двенадцати годов дожила, а прабабушка Матрона до ста восемнадцати. Та вообще праведница была, молитвенница великая. Она слепенькой родилась, по старым, крестьянским, понятиям — не работница. А раз не работница, значит, Богу молись за всю семью,

отрабатывай своё прокормление. Она так с детства к храму и привыкла, сперва её туда за ручку водили, потом и сама стала ходить. Очень божественную службу любила, ни одной не пропускала. Её старый псаломщик под своё покровительство взял, обучил молитвам, память у неё страсть какая цепкая была до самой смерти. Книжки ей читал божественные, жития разные, писания. Крестьянам-то особо читать некогда, труда много, вот Мотя и была в дому вместо книжки. Все кушают, а она какое-нибудь житие пересказывает или Евангелие праздничное объясняет. Говорят, проповедь священника слово в слово повторяла. А как выросла, с чужими детьми сидеть стала, помоет их, покормит, а главное, к вере приучает, в церковь водит. Вся родня её сильно любила и уважала, так и звали — Боженькина Мотя. А когда ей тридцать стукнуло, жених ей нашёлся, парень хороший, на семь лет моложе её, трудящий и благочестивый. Он её в церкви приметил и сильно полюбил. И ведь уломал-таки родителей за неё свататься, уговорил. А она в ответ: «Молиться за него всю жизнь буду, за то, что честь такую мне, калеке, оказал, а выйти замуж не могу, я Христу обет дала». А какой обет, не сказала: обет и всё. Ну да её никто не принуждал, конечно, её и в своей семье за молитвы да за детей очень ценили. А парень тот через год женился, и очень удачно, всю жизнь счастливо жил, видно, молитва Мотина за него сильная была.

И умерла оиа блажеиио. За год до смерти родиых предупредила, потом за полгода иапомиила и за месяц. А за три дия до смерти — прозрела. Напросила, говорит, у Господа, иапоследок всех вас посмотреть. За те три дия у иеё, почитай, всё село перебывало — прощалась. Каждому иаставлеиие какое-иибудь сказала, совет о жизии дала. А в третий деиь, сидя в креслице, вои в том, что иа вераидочке стоит, благословила всех и сказала: «Прощайте, любимые мои, у Господа свидимся, молитесь за меия, грешиицу, за миой пришли уже». Вздохиула и отошла легко и тихо. Как Давид в псалтири поёт: «Честиа пред Господом смерть преподобиых его».

— Нииа! Ты что это гостя разговорами кормишь? Веди за стол завтракать. Доброе утро, Алексей!

— Доброе утро, Семёи!

— Прости, Семёиушка! Оплошала! Лёшеиька, к столу-то пожалуйте! Простите болтушку окаяиную!

Вошедший хозяии дома, бесспорио, достоии быть описаи ие таким жалким бумагомаракой, как пишущий эти строки... Тут, пожалуй, и Лескова с Мельииковым-Печерским ие хватило бы. Ростом Семёи, фигурой и статью вышел — что твой Илья Муромец (ие путать с уродливыми голливудскими «качками»), силища во всём теле, в его-то шестьдесят с лишком, так и переливается. Бородища из-под глаз, зубищи «цыгаиские» — хоть иа рекламу «Блеидамеда», грива львииая,

пальцы стальные — ох и рукопожатие! И при всём при этом глаза — как у младенца — чистые, ясные, ласковые, так и лучащиеся радостью и добротой.

Словом, какой-то он весь былинный, из детства.

Но в джинсах и часы японские «родные», с компасом, термометром, барометром и прочими там прибамбасами, я такие у знакомого гонщика с «Кэмел трофи» видел, тоже бывшего однокурсника, серьёзные такие часики — долларов за шестьсот.

— Сынок подарил! Средний, — увидев, как я разглядываю его часы, засмеялся Семён. — Он у меня любит всякие подарки из командировок привозить иностранные. Тебе, говорит, отец, в лесу без них не обойтись, и везёт: то ружьё итальянское, не скрою — бою хорошего, кучненького, «беретка» называется, то бензопилу шведскую, то снегоход немецкий, то вот часы эти. Спаси его Господь за заботу! Только я ведь ещё прадедом сызмальства в лесу приучен с одним ножом да коробочком соли по неделе, а то и по две бродяжничать. И заблудиться для нас, Прохоровых, в лесу стыдней, чем Нине в своём огороде. Было, правда, разок... но то уж — Божьим попущением. «Да бы аз не превозносился»!

— Как это — «Божьим попущением»? Расскажи, Семён Михалыч!

— Расскажу, попозже. Вот только хозяйку со снедью её уважим, а уж за чайком расскажу.

Если есть Рай, то чтоб меня там так кормили! Бывал я на всяких там фуршетах, бизнес-ланчах, обедах и ужинах, едал кухню японскую, китайскую, итальянскую, греческую, французскую, турецкую и какую-то ещё. Один раз с руководством «Газпрома» сподобился спецзаказанные деликатесы поглощать. Но это же всё — просто харчи из забегаловки привокзальной рядом с неприхотливым завтраком покровского лесника, ласковыми руками любящей жены приготовленным. Нет. Опять мастер слова не меньше Чехова требуется. «Сирену» помните? Не помните, так перечитайте!

Просто перечислю: окорок молодого дикого кабана томлёный с луком и чесноком в русской печи, картошечка молоденькая варёная, со сливочным маслом (домашним, естественно), посыпанная свежим укропом, рыжики жареные, прямо со шкворчащей сковороды, груздочки солёные калиброванные «сопливистые», карп заливной с морковью и петрушкой, тертая репка с зелёной редькой со сметанкой (тоже домашней, конечно), кашка пшённая с черносливом, изюмом и дынькой сладкая, капустка квашеная с клюковкой и тмином, редисочка трёх сортов молоденькая, лучок и прочая зеленушка — полное блюдо, морс брусничный, кисель малиновый, клубника и земляника и кувшинчик со сливками — отдельно, что-то ещё, уже не помню. Вот так. Свежести всё неописуемой, аромат, с ног валящий.

В общем, чуть мне конец не пришёл, хотя вроде только попробовал всего понемножку. Да! Ещё квас забыл с хреном, хлеб домашней выпечки и варенья из крыжовника и китайских яблочек.

Причём сам Семён кашки пшённенькой съел из мисочки (у соседкиного кота в Москве больше), свежей зелени несколько веточек, кваску кружечку да хлеба ломтик. Вот тебе и завтрак богатыря!

Видя моё помрачённое обжорством, осоловелое состояние, Семён, помилосердствовав, сказал Нине: «Чайку нам на веранду подай, на свежем воздушке посидим».

Помолившись, вышли на веранду (то есть молились Семён с Ниной, я из вежливости тоже перекрестился, кажется, неправильно, но на это внимания не обратили). Мне досталось «Мотино» кресло, Семён присел на изящной работы резную табуретку, Нина вынесла нам ароматный чай, благоухающий жасмином, смородиновыми почками и ещё чем-то, мне неизвестным. Помолчали. Затем Семён, чуть вздохнув и откинув назад со лба густую прядь чёрных с обильной проседью волос, начал:

— Я ведь, Алексей, не всегда по-божески жить-то старался, было время — ох и чудил! В пятьдесят шестом, как демобилизовался, решил в городе счастья поискать, жизни красивой, погулять. Ну и погулял пару годочков в Москве, я там на стройке плотником устроился. Работал хорошо, деньги тоже хорошие зарабатывал, да сразу

и просаживал: то ресторан, то в карты, то на бильярде, а уж на подружек — и не сосчитать, красив был по молодости, вешались табунами. Ох, нагрешил! Отмолить бы, Господи! Ну я так во вкус «городской» жизни вошёл, что про родителей да про их святые наставления вовсе позабыл, в деревне вроде как и не жил никогда: Москва от родства быстро отучает, в сплошном дурмане, как во хмелю, пребывал. Очнулся на нарах.

Открыл глаза, гляжу — я в каталажке, а за решётчатой дверью милиционер сидит на стульчике, пожилой такой, усатый. Я к нему:

— Дядя, — говорю, — что случилось, где я?

— Не помнишь, небось? Буян! В Марьиной роще ты, в отделении. Вот придёт следователь, допрашивать будет. Хотя что тебя допрашивать — и так всё ясно, свидетелей десятка два наберётся.

— Дядя, дорогой, что ж я натворил-то, ведь ничего не помню!

— Ишь, племянничек нашёлся! Бык рогатый тебе дядя или медведь в лесу. Выхлебал, дружки вон твои говорят, чуть не ведро «белой», да в том же кабаке и драку учинил с курсантами, официантку, вишь, не поделили. Дак ведь ты двоим рёбра поломал, одному руку, а ещё один в реанимации, с головой пробитой. Коли помрёт — будет тебе, паря, «вышка» — строго теперь с убивцами-то.

Тут я и завыл во весь голос.

— Господи! Что ж я наделал! Жизнь свою погубил, мать с горя помрёт, родных опозорил! А курсантик-то, Господи! Он-то за что? У него, небось, тоже мать есть, ох, проклянёт она меня со всей роднёй моей! Господи! Да что же это такое? Господи!

— Поздно ты, паря, Господа вспомнил, — пожилой милиционер глядел с жалостью, беззлобно, — раньше надо было родителев слушаться да к попу «на испыт» бегать. Натворил делов — отвечать надо. А то и правда, что окромя Бога тебе теперича помочь некому. Молись, что ли, коли умеешь. Молись, давай, может, Бог-то и услышит...

Тут меня словно в прорубь окунули. Всё вдруг вспомнил. Церковь нашу, себя маленького, отца, погибшего в День Победы в Берлине, как они с дедом меня на Пасху причащать ведут, ковшик вспомнил с крестиком, потёртенький, с запивочкой тёпленькой, и мать нарядную — в платке, кулич и яйки крашеные, сияет вся. Батюшку вспомнил старенького, хромого, в очках с толстенными стёклами: «Причащается раб Божий младенец Симеон честнаго и пресвятаго Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа...»

Рухнул я тут на нары и зарыдал. Так зарыдал, что аж охранник мой испугался. Дверь открыл, зашёл, хоть и не положено им, присел рядом и утешает.

А я словно в исступление впал — не вижу ничего, не слышу, рыдаю аж с рыком утробным и кричу сквозь рыданья:

— Господи! Прости меня, мерзавца окаянного! Родителей моих ради, спаси мальчишечку, не дай помереть! Матерь Божья! Ради его матери, спаси мной убиенного! Господи! Меня накажи, убей меня — его спаси! Господи! Боже мой! Господи!

Сколько я бился так — не помню. Сказали потом — полутора суток. В забытьё впал. Очнулся — нары перед глазами в крови засохшей, лицо разбито, это я головой об них сильно стучался. Внутри пустота. Всё помню, ничего не чувствую, ничего не хочу, словно я умер уже.

Слышу, ключ в решётке клацкнул, вошёл кто-то. Голос охранника моего: «Очнулся бедолага!».

И другой голос, тонкий такой, сипловатый:

— Прохоров! Вставай! На выход с вещами!

Так же омертвело встал, пиджак свой порванный подобрал, вышел. По коридору иду за охранником, мысль такая холодная, спокойная в голове: побежать, что ли? Пристрелили бы уж скорей, без тягомотины, суда бы не было — родным позора. Но удержался.

Ввели в кабинет, обшарпанный какой-то, грязной зеленой краской грубо покрашенный.

Человек в гражданском сидит — видно, следователь. Молодой, чисто выбритый, «Шипром» пахнет, и глаза незлые.

— Садитесь, Прохоров, можете курить (а я курил тогда «Казбек» — дорогие).

— Повезло вам, Прохоров, — дело закрыто. Курсант в больнице очнулся, чувствует себя хорошо, даже врачи удивлены. Сидеть бы вам за тяжкие телесные, да полковник приезжал, командир училища. Привёз письменные отказы от претензий всех побитых вами курсантов и ходатайство о прекращении дела. Я был против, но наверху дело замяли, видно, училищу скандал не нужен. Вы свободны. Можете идти, вот пропуск на выход. Там внизу вас старик какой-то дожидается. Не попадайте к нам больше, Прохоров.

Ничего не понимая, бесчувственный, как бревно, словно обухом сзади ошарашенный, спускаюсь вниз в приёмное, навстречу — мой дед. Строгий, высокий, на груди полный «Георгий», в руке плеть держит, рядом охранник мой стоит, пожилой, усатый, видно, только что говорили они о чём-то.

Сверкнул на меня дед очами из-под бровей кудлатых да как вытянет кнутом плетёным из бычьей шкуры со всего маху, у меня аж дыханье от боли перехватило.

— Кланяйся, Семён, вот этому человеку, он теперь твой первый благодетель, к Богу тебя оборотил. Да имя его, раба Божия Димитрия, в памяти своей ножом вырежи! Во всю остатнюю жизнь за него молиться будешь! Он и телеграмму домой о тебе, паршивце, прислал.

И вновь кнутом взмахнул. Охранник-то мой хвать его за руку, не даёт ударить:

— Ты что, Тимофей Василич, не ровён час самого посадят! Оставь ты его! Вишь — Господь его услышал, чудом дело-то закрыли! Простил его Бог, и ты прости!

— Прощу. Но накажу. Всё, Семён, кончилась твоя Москва! Домой едем. Тебя невеста ждёт.

— Какая невеста?

— Увидишь.

И поклонился до земли охраннику моему:

— Спаси тя Христос, Дмитрий Иванович, век за тебя Бога молить не забуду!

Затем резко повернулся на каблуках и пошёл к выходу.

Дверь родительского дома мне открыла Нина.

— А ну! Нина Петровна! Расскажи москвичу, как тебя по-деревенски за меня выдали!

— Оставь, Семёнушка, что тут рассказывать, Алексею такое, поди, неинтересно!

— Очень интересно, Ниночка, расскажите, пожалуйста, я и так уже второй день словно в другой стране и в другом веке живу! Бога ради, расскажите!

— Ну уж коли хотите… Всё у нас по-простому было. Мне тогда семнадцать только исполнилось, к родителям моим пришли Тимофей Васильевич, дедушка Семёна моего, да мама его Анисья Игнатьевна, нарядные и серьёзные такие! Меня мамка из дому выставила, да я — к окну и, грешным делом, всё и подслушала.

— Мои родители Семёновых за стол усадили, чай, там, что было в доме — на стол, посидели для порядку. Потом Тимофей Васильевич говорит:

— Пётр Сергеич! Кабы всё по-хорошему было, я б тебе сейчас про купца да товар зачал. А как купец не в порядке, то я к тебе, почитай, за милостью пришёл. Внучка моего Сёмку ты знаешь, неплохой был мальчишка. А сейчас в Москве в «околотке» сидит. За пьяную драку. Мне добрый человек телеграмму прислал, что судить должны были Сёмку — поувечил он кого-то. Но, Бог милостив, — отпустят. Пишет, чтоб я забрал его от греха подальше. Спаси, Господь, того благодетеля во вечные веки! Еду за ним сегодня. Кого привезу — не знаю, почитай, пять лет не видел. Вишь вот — как на духу тебе рассказал, ничего не утаил. Теперь, всё зная, ответь мне: отдашь ли за моего шалопая младшенькую свою, Нину?

Помолчал папка и говорит:

— Пусть Мотю идёт спрашивать. Коли Божья воля есть, отдам. Я ваш прохоровский род знаю. У вас коли мужик и задурит, то не по злу, а от силушки лишней, которой уж и наградил же вас Господь! Сёмку твоего с детства уважал, ладный был парень, думаю, исправится. Коли Мотя благословит — забирайте Нинку!

Я у окна — ни живая ни мёртвая. Семёна и не помню хорошенько, он в армию ушёл, мне только двенадцать стукнуло, и вдруг — раз — и «забирайте»! Ужас!

Похолодела вся, сердце почти не бьётся! А тут отца голос:

— Нина! Поди в избу!

Я вошла, вся дрожу. Отец встал, перекрестил меня и говорит негромко:

— Дочка! Иди к Мотюшке, скажи: «Отец спрашивает — есть ли воля Божья идти мне замуж за Семёна Прохорова?». Что она тебе скажет — придёшь и нам поведаешь. Иди с миром, голубка моя!

Пошла я к Моте нашей «Боженькиной». Она в сарайчике жила летом в последние годы жизни, там и людей принимала. «Келейкой» свой сарайчик называла. Вхожу к ней в «келейку» — она в креслице вот в этом сидит, в котором вы, Алексей, сейчас, в сарафанчике тёмненьком, застиранном (шить себе новое по многу лет не позволяла и стирала сама), платочек, как сейчас помню, праздничный на ней одет — «Пасхальный», чёточки в руках затёртые и сияет вся: «Исайя, ликуй!» напевает. Я так удивилась, что и про своё дело-то позабыла.

— Мотюшка, — спрашиваю, — сегодня ж разве праздник какой? Нет ведь в месяцеслове даже «полелея»?

— Праздник у меня! Праздник! Крестницу любимую замуж отдаю, Нинушку драгоценную! За добра молодца Симеона Евграфовича! Будет жить с ним счастливо, слушаться его во всём, кра-а-сивых деток растить!

Я так и ахнула:

— Мотюшка! Я ж его и не знаю совсем!

— А под венец пойдёшь — и узнаешь.

— Мотюшка!!!

— Раба Божья девица Нина! Есть воля Божья тебе за Семёна идти, так отцу и скажи! И ещё: собирай вещи да сейчас же к жениху в дом уходи — так Богу угодно. Подойди, поцелую тебя, радость моя, будь счастлива и Господа всегда благодари! Да благословит тя Господь «во вся дни живота твоего»!

Вернулась я в избу ни жива ни мертва, всё отцу с матерью рассказала, Прохоровы тут же сидят. Тут мамка моя, допреж того ни слова не проронившая, как закатится причитать: «Ой, дитятко моё малое, как я тебя во чужи люди отпущу?! Как расстанусь с ненаглядной моей?!»

Ну и прочее, что матерям положено. Отец глянул на неё, останавливать не стал, перекрестился, повернулся ко мне:

— Клади, Нинка, свой сундучок в синюю тележку да запрягай в неё Игрунка. Будет он тебе с тележкой в приданое, большего дать нечего. Езжай в новый дом, коли так Мотя сказала, она, видно, знает. На свадьбу придём. Бога бойся, мужа почитай. Тимофей Васильич, ты уж это... присмотри... Прощевайте пока. Пойдём, жена, ульи поглядим, они тут без нас разберутся.

И, забрав с собой причитающую мамку, вышел из избы.

А то, почему мне Мотя сразу к Семёну в дом велела ехать, я в тот же день и поняла. Едва у них во дворе мой сундучок с тележки сняли, Анисью Игнатьевну, маму Семёнову, удар хватил, инсульт то есть. Парализовало у неё полтела, сына так в постели и встретила. И я, до захода солнца ещё, уже в новом дому хозяйкой стала. Вот так я и сосваталась. Ничего интересного, Алексей.

— Ну уж и ничего! На моё бы место Островского, вот бы счастлив был такую историю услышать!

— Вы Островского Николая Григорьевича имеете в виду? Учителя из Зареченска?

— Нет, Ниночка, я имел в виду великого русского драматурга.

— Полно вам шутить, Алексей, над нашей простотой деревенской! Какая история? У нас тут всё просто да однообразно.

— Просто — может быть, да простота такая дорогого стоит. А про то, как ты в лесу заблудился, Семён Евграфыч, не забыл? Расскажи, будь другом!

— Ну, этого я никогда не забуду. Случилось это в шестьдесят первом, Хрущёв как раз обижать сильно Церковь начал. К нам тогда тоже какие-то «упал-намоченные» приезжали, двое в польтах и шапках-«барашках», хотели церкву закрыть. Но у нас мужики

серьёзные были, пришли в контору, человек пятнадцать, закрылись с теми чинушами, председателя с бабами на двор отправили. И говорят «упал-намоченным»:

— Тут вот в кулёчке деньги — на две «Победы» хватит, а вот — мешки рогожные, крепкие. Вы, товарищи, выбирайте — написать в своих бумажках так, чтобы про нашу церкву власти и не вспоминали больше, — и вот вам от людей чувствительная благодарность. Или в прорубь в мешочке, оно как раз и стемнело уже. Сомы в наших краях крупные, бывают и по шести пудов, так что по весне всплыть будет нечему.

Те струхнули, конечно, видят — мужики не шутят.

— Давайте, — говорят, — вашу благодарность, да рот на замке держите. С Советской властью по-хорошему завсегда можно договориться (и кулёчек с деньгами — в портфельчик засовывают). Папочку с вашим храмом мы на такую полку поставим, что до Второго Пришествия сам леший не найдёт. И попу своему передайте, что, кабы все прихожане вон как вы были, жизнь была бы другая.

А какая — другая, не объяснили — уехали. Но храм наш и вправду до сего дня без службы не бывал.

— Да! Так вот, аккурат после того приезда через полгода, вскоре как Мишенька, третий сынок, у нас родился, пошёл я в лес обходом, сухостойчику присмотреть да много ль помёта кабаньего — ожидать ли по

осени огородов разрытых. Только вот не в духе я в лес пошёл, смешно теперь, а тогда я на начальство сильно обижен был, что причитавшуюся мне новую «Дружбу» — бензопилу — на соседний участок отдали. Мой сосед-то, лесник из Куровсково, к начальству без гостинцев никогда не ездил, а я подмазывать за всю жизнь так и не научился — противно что-то. Ну вот я весь в обиде и отправился. Забыл прадедову заповедь, чтобы в лес без мира в душе да без молитвы и носу не совать. Въелась мне эта «Дружба» — подцепил бес.

— Ну, иду я весь надутый и вдруг, почти на ровном месте, — за корень ногой, да как хлопнусь, и лицом как раз в лосиный помёт. Тут уж я совсем рассвирепел, подскочил и, чего и на стройке в Москве себе не позволял, скверным словом выругался. Так выругался, что даже сам удивился: отродясь не сквернословил. Постоял, утёрся, плюнул и назад домой пошёл, ещё больше на весь белый свет рассерженный. Выхожу на полянку, там у меня штабелёк брёвен сложен был, вижу, что пришёл-то в обратную от дома сторону. Повернулся и снова к дому. А напомню, это без хвастовства, я наши леса (тем более участок свой) сыздетства лучше своего лица в зеркале знаю, ночью без фонаря любую нужную кочку отыщу. И вот, примерно час спустя, выхожу я вновь к тем же брёвнам, на ту же поляну. Тут я уже и про «Дружбу» позабыл. Такого со мной в жисть не бывало. Развернулся и — в лес. Вот он ручеёк, а вот муравейник

сдвоенный — правильно иду. Через час — я у брёвен, там же. Нет, думаю, надо присесть отдохнуть, что-то с головой у меня, видно, не в порядке. Присел на нижнее брёвнышко под штабелем, закурил. Глядь, а слева на бревне старичок сидит незнакомый, в телогреечке рваненькой, в ушанке солдатской, я в задумчивости и не заметил, как он подошёл. «Угости, — говорит, — папироской». Я угостил, а, как спички ему протягивал, коробок обронил. Наклонился поднять и вижу: ступни ног у старичка босые, размера неестественно большого и ярко-красного цвета. «Ага, — думаю, — понятно, кто меня по лесу водил». Разгибаюсь, а сам тихонько про себя «Отче наш» читать начинаю. Старичок как подпрыгнет: «Ты что, Сёмка? Сам ведь позвал!»

И исчез, как не было. Встал я с бревна, а тут как рухнет штабель, я, грешник, еле отскочить успел, а котомку мою накрыло. Термос в ней был, китайский, хороший — в крошево. Зато домой сразу, как ни в чём не бывало, вышел. Тот урок, слава Богу, накрепко усвоил. В немирном духе да без молитвы не то что в лес, а и вообще никакое дело в пользу не выйдет.

— Ну, Семён Евграфыч, тут у вас, может, и возможно «в мирном духе» пребывать, а в Москве нынче вся жизнь — сплошной стресс: деньги, работа, жильё, личная жизнь... Да, собственно, личной жизни особенно и нету — не до неё всё, некогда. Живёшь, как за рулём по гололёду на «лысой» резине и без тормозов, —

давай, ускоряйся, других обгоняй, «подрезай», лишь бы самому на обочине не оказаться. Так и гонишь, пока до своего столба не доедешь.

— Лексей! А нужна она — такая жизнь-то? Много радости-то от неё?

— Радости немного, почти в общем-то и нет. Да как иначе — сейчас все так живут. В Москве, по крайней мере.

— Ну, я думаю, и в Москве, возможно, не все, а вот у нас тут так гонки этой вообще нету. На печи, конечно, тоже не залежишься — в деревне работы много, но и рабства такого, как ты сейчас описал, — нет и в помине. Человеку нельзя так жить. В Евангелии сказано: «Кесарю — кесарево, а Божье — Богу». Соответственно, телу — необходимое: пищу там, одежду — по большому счёту, не так уж много-то и надо, а душе — веру, Церковь святую да молитву...

Из-за забора звонко закричал мальчишечий голос:

— Дядь Семён, дядь Семён! Москвича Алексея к себе батюшка зовёт!

— Ну, коли зовёт, — иди, Лексей. А у нас дверь открытая — приходи как домой.

— Спасибо, Евграфыч, Ниночка благодарю за угощенье!

— Не за что! Во славу Божью! Приходите, Алексей!

Флавиан встретил меня озабоченным взглядом.

ГЛАВА 4. БОГ

— Алексей! А у тебя мобильный с собой?

— В машине, в бардачке. Я его отключил. Не хочу ни с кем разговаривать, пока я здесь у тебя.

— Тогда понятно. Мне Женя сейчас позвонила, а ей врач Иринин. Ира Женин телефон им дала, так как твой не отвечает. Плохи у неё дела. Обследования показали рак, возможно, с метастазами. Будут оперировать, но результат непредсказуем.

— Ну так я ж ей денег дал на операцию, что я ещё должен? Не сидеть же с ней в качестве сиделки? И вообще, я с ней разведён!

— Ну да, помню. Наверное, и так — больше ничего не можешь, пока... Ну, ладно. Пойдём, помоги мне паникадило к празднику почистить, а то я со своей тушей стремянку сломаю, а мать Серафима с неё не достаёт. Не сочтёшь за труд?

— Да ты что? С удовольствием! Справлюсь я с этим твоим кадилом?

— Паникадилом! Это люстра такая в главном приделе. Справишься. Зубной порошок на тряпочку и чисти — вся премудрость.

— Ну, тогда пойдём!

И мы вошли в храм.

В храме я не был давно. То есть — в нашем русском православном храме. С тех пор как «загранка» стала доступна советскому человеку, я успел побывать в соборе Святого Петра в Риме, в афинском Парфеноне, в храмах Луксора в Египте, был даже в буддистском дацане в Бурятии. А когда я был в нашем храме, вспомнить не смог — то ли в детстве, то ли позже. А ведь точно был когда-то.

Даже странно: Андрюшка вон — поп, Женька, оказывается, верующая, моя бывшая благоверная и то успела «отметиться», а я — мимо. И почему?

Флавиан лишь завёл меня в церковный притвор и тут же вышел за зубным порошком, а я остался в храме один.

Первое, что сразу же поразило меня, это какая-то особая тонкая тишина. То есть я слышал из-за открытого окна пенье птиц, звуки голосов, мотоцикл где-то протарахтел. Эти звуки были рядом, но — не здесь, и шли они из какого-то другого пространства, которое

казалось никак не связанным с тем, в котором я находился сейчас.

Я словно очутился в другом измерении. Именно в другом измерении! Я почувствовал это всем своим существом в той звенящей, прозрачной и живой тишине храма.

Да, да! Я вдруг ощутил, что тишина здесь — живая! Прямо как живое существо — доброе, мудрое и живое — по имени Тишина. И в этой тишине было разлито присутствие жизни, и не просто жизни, а ЖИЗНИ, какой-то другой — настоящей. Я внезапно догадался — Вечной. Господи! Не схожу ли я с ума?

Кажется, Паскаль в «Мыслях» или Ларошфуко в «Максимах» сказал: «Я чувствую, что Бог есть. И не чувствую, что Его нет. Значит, Он есть».

Я вдруг понял, что могу подписаться под этими словами. Я почувствовал, что Он — есть.

Я Самого Его почувствовал!

Мой разум, весь мой жизненный опыт, логика моей жизни — всё противилось этому невесть откуда взявшемуся чувству: Бог есть! Что-то во мне кричало истошным визгливым голосом: немедленно выйди отсюда, уезжай в Москву, ты здесь рехнёшься, ты уже рехнулся!

Но это чувство не проходило — Он есть!

Да, да! Он — Бог — есть! Настоящий Живой Бог!

Я не видел, где Он, я не слышал Его, но я всем своим существом ощущал Его, Бога, присутствие. Он был здесь, рядом со мной. Может быть, даже стоял вот за этой колонной? Или за теми резными дверями?

И мне было хорошо от этого. Я чувствовал, что мне хорошо. Так хорошо, как никогда не было в жизни. И я знал, что это хорошо, оттого что Он, Бог, здесь, рядом со мной.

Я стоял в притворе храма, глубоко дышал этим, каким-то незнакомым мне, воздухом, проникнутым тонким неведомым ароматом, несказанная лёгкость мягко наполняла моё существо, мне казалось, что сделай я шаг — и я оторвусь от пола и поплыву под этими древними благоухающими сводами.

Тихая какая-то радость, как в детстве, на коленях у бабушки, проникала в моё сердце, и оно взволнованно тукало: «Господи! Господи!»

Я не сразу понял, что передо мной стоит Флавиан с тряпкой и коробкой порошка в руках и с ласковой улыбкой смотрит на меня, похоже, уже давно.

— Андрей! Прости, Флавиан! Прости — отец Флавиан! Послушай!

— Не надо ничего говорить, Лёша, я вижу. Вы встретились. Слава Богу!

— Нет, послушай, это что — правда? То, что я почувствовал сейчас, это вправду — Бог? Разве так бывает?

— Бывает и так. И по-другому. По-разному. Но это — Бог. В этом можешь не сомневаться. Я верил, что ты сможешь это почувствовать. Когда-нибудь. Что у тебя осталась живой душа, несмотря на то, что ты всю жизнь старательно убивал её. Я не предполагал, что это может произойти сейчас. Но Богу виднее, кому и когда открывать себя. Слава Богу за всё!

— Отец Флавиан! Послушай... ну, а что мне теперь делать? Что-то произошло сейчас со мной... Я ещё ничего не пойму, что во мне творится... Я только знаю теперь, точно знаю, что Бог есть!

— Леша, а ты поговори с Ним. Поговори, как говоришь сейчас со мной, просто поговори. Скажи Ему, что ты вот сейчас почувствовал, что Он — есть, что ты ничего про Него не знаешь, но хочешь познакомиться с Ним. Расскажи Ему про себя, про свою жизнь, про всё, что у тебя в душе наболело, попроси помочь, научить тебя — как жить дальше. Встань вот здесь, вот перед этой иконой и поговори с Богом.

— А можно мне встать на колени?

— Можно, конечно...

Я встал на колени.

Когда я вышел из храма, уже начинало темнеть. Я не расскажу о том, как я разговаривал с Богом. Это невозможно рассказать. Это — тайна. Или — таинство.

В общем, это не для всех. Скажу лишь одно: во всё время, что я говорил к Нему, то жалуясь, то плача, то упрекая Его, Он стоял передо мной и слушал. Слушал и отвечал. Отвечал струящейся от Него Неисчерпаемой Любовью, в которой я захлёбывался от нахлынувшего счастья. Это невозможно описать. Это можно только испытать. Тот, кто уже испытал, тот поймёт. Dixi — я сказал.

Паникадило почистил сам Флавиан. Стремянка его выдержала.

ГЛАВА 5. МАТЬ СЕРАФИМА

— Алексей Витальевич!

Голос матушки Серафимы — строгий и в то же время доброжелательный — вывел меня из задумчивости. Оказывается, я уже полтора часа просидел в резной беседочке в углу церковного сада.

— Еле нашла вас. Батюшка срочно уехал в Горбуново, это в двенадцати верстах, причащать старушку умирающую. Велел напоить вас чаем и просить дождаться, когда он вернётся.

— Спасибо. То есть спаси вас Господи — так, кажется, принято говорить?

— Так, так, Алексей Витальевич, так, голубчик. Вы чайку любите с мятой или по-господски — с лимоном?

— А почему по-господски, матушка Серафима?

Разговаривая, мы зашли в церковную сторожку — чистенькую, со свежебелёными стенами и белёной же,

разрисованной яркими цветами печкой, в которой попыхивал паром до блеска начищенный медный чайник.

— А это раньше, в мирное время, то есть до большевиков, так говорили: с лимоном — по-господски, с молочком — по-купечески, с яблочком — по-поповски, в наклад — по-городскому, а вприкуску — по-крестьянски. Ну а уж по-бедняцки — вприглядку!

— Надо же! Никогда такого не слышал! Матушка... Можно мне вас так называть?

— Можно, Лёшенька, можно.

— Матушка, а что вы так смотрите на меня и улыбаетесь?

— Так ведь это я, Лёшенька, радуюсь на вас. Вы бы сами себя сейчас увидели — аж светитесь! Я ведь ваше лицо хорошо запомнила ещё тогда, в Москве, в обувном магазине. Да и когда приехали вы... да что там! Ещё перед входом в церковь, сегодня, когда вы на улице с батюшкой разговаривали, так у вас ещё лицо-то другое было — ожестелое такое, с мертвечинкой.

А сейчас, ровно дитя на именинах, сияете! Такая перемена в лице обычно при крещении бывает: входит в купель один человек, выходит — другой, во Христе младенец! Я это много раз наблюдала, когда батюшке при крещении прислуживала. Да ведь младенец и есть! Крещение ведь — второе рождение, вся прежняя

жизнь с грехами в купели остаётся, а новая с чистого листа начинается.

— Матушка! А можно мне ещё раз покреститься, чтоб уж по-настоящему, вот как вы говорите, новую жизнь начать?

— А вы, Лёша, уже были крещены когда-нибудь?

— В младенчестве был. Бабушка тайком от родителей где-то в подмосковном храме крестила, чтоб без паспорта, с этим тогда, говорят, строго было. Перед смертью незадолго, мне тогда двенадцать лет было, бабушка мне сказала, что я крещён во имя Алексея Божьего человека, а кто он такой — я так и не знаю до сих пор.

— Ну, Лёшенька, это не беда. Я вам житие Алексея человека Божия почитать дам, даже подарю, очень трогательное житие. А вот креститься второй раз вам нельзя — в Символе нашей веры сказано: «... Верую во едино крещение во оставление грехов». Да и не к чему оно вам. Нам, православным, Господь всем даровал «второе крещение» — Таинство Покаяния да прощения грехов через священника на исповеди. Вот этого-то «второго крещения» вам, Лёшенька, у батюшки Флавиана и попросить бы, когда он вернётся.

— Исповедь? Это про грехи свои рассказывать? Ну, я не знаю, надо ли это... Чужому человеку такое про себя говорить стыдно как-то...

— Вот это-то и важно, Лёшенька, дорогой, чтоб стыдно-то было! Чтоб от стыда под землю провалить-

ся хотелось! Чтоб душа содрогалась от собственной грязи и мерзости, плакала бы и прощенья у Бога просила! Именно так Таинство Покаяния и совершается — когда стыдно. Малый стыд перед одним священником испытать — великого стыда перед всем миром избавиться. Ведь все наши нераскаянные грехи на Страшном Судище перед всем миром откроются. А по грехам и суд — «коемуждо по делом его». Ох, и страшно Суда того, Лёшенька! Оправдание либо осуждение навечно будет! Представляете — навечно! Да, впрочем, человеку того и представить невозможно — вечность — очень уж мы временным жить привыкли! А жизнь-то она вон — вжик и нету — пролетела! Вот только вчера, вроде, от украинского голода в тридцать втором сюда, в Т-ск, мы с сестрой с Полтавщины бежали, по лесам мимо кордонов ОГПУ пробирались, а уж тому скоро семьдесять лет минует.

— Матушка, вы простите нескромный вопрос, а сколько ж вам лет, что вы так всё хорошо помните? Даже поговорки эти про чай по-господски?

— Годков-то мне уж скоро восемьдесят седьмой пойдёт, вторую жизнь живу, у Бога занятую. А прибаутки те ещё от папочки покойного, Царствия ему Небесного, убиенному протоиерею Доримедонту, в детстве слышала.

— Матушка! А что значит вторая жизнь, у Бога занятая?

— Это, Лёшенька, значит, что в первой жизни я была Катерина-грешница, а теперь уже шестнадцатый годок — ещё большая грешница монахиня Серафима. По одежде — монашка, по грехам — окаяшка. Пятнадцать лет уже в глинке лежать должна была, да милостивый Господь по молитве отца покойного, руками батюшки Флавиана, дал времечка на искупление. Я тогда уже помирать собралась — рак обоих лёгких с метастазами везде, а я ведь сама врачом была, кардиохирургом, всё понимала, и как помирать поэтапно буду тоже. Лежала в палате-двушке, в двухместной то есть, с соседкой (чтоб в одиночестве мыслями не мучиться), в своей же больнице в Т-ске, где сорок два года проработала. С соседкой по палате о политике всё спорила — вот ведь до чего ослепление бывает! Смерть у кровати стоит, а я — даёшь перестройку! Партия обновится, выведет из застоя! Коммунисты не подведут (и это я-то — дочь священника расстрелянного)! А соседка та, Наталья, жена кого-то там из обкома партии, всё мне про Бога — исповедайся, мол, причастись, одни кости уж остались! А я — нет, мол, человек не должен унижаться перед судьбой, умирать надо гордо! Господи! Неужели ж это я была?! И вот приводит к Наталье моей муж-обкомовец попа молодого — батюшку нашего Флавиана — особоровать соседку мою, значит, а он взглянул лишь на неё, благословил и ко мне поворачивается. Смотрит пронзительно так и говорит: «Вы ведь

не жадная, правда? Подарите мне коробочку, что у вас под матрасом с левого плеча в изголовье, она вам не понадобится». Я так и охолонула, у меня ведь и впрямь коробочка там лежала, а в ней шприц и морфина смертельная доза — чтоб не мучиться, когда боли нестерпимыми станут, а мне и тогда уже «Баралгин» лошадиной дозой кололи. В голове закружилось, не могу понять, как он про коробочку-то узнал? А он смотрит с улыбкой, но властно так, что я и сама не поняла, как коробочку свою заветную достала и отдала ему безропотно. Он её в портфель сунул и сказал: «Я к вам завтра приду, вы с утра не ешьте ничего и не пейте». И соборовать соседку начал, поёт тихонечко, молитвы читает, а я как в тумане лежу, никак мыслей собрать не могу, что-то происходит со мной, а что — не пойму. Особоровал он соседку, причастил, попрощался и ушёл. А я так до утра глаз и не сомкнула, всё понять пыталась — не гипнотизер ли был тот священник? А под утро моя соседка преставилась — тихо, не просыпаясь, вздохнула только и вытянулась, и лежит, улыбаясь чему-то. Я до семи сестру звать не стала, намучились они, сёстры-то, за ночное дежурство, сама их несчётно продежурила. Увезли от меня Натальюшку, Царство ей Небесное, а я есть вдруг захотела, просто мочи нет, и «Боржоми» из холодильника. Так этого «Боржоми» захотела, что аж во рту пузырёчки холодненькие почувствовала. Но лежу, терплю голод и жажду, удивляюсь, что болей

привычных нету, жду того священннка молодого, странного, огорошившего меня так неожиданно, вопросы для него заковыристые приготавливаю — всё ж в институте недаром пятёрку по атеизму имела, прости меня Господн! Вот прнходит, улыбается, напевает: «Радуйся, Серафиме, Саровскнй чудотворче!»; у меня все вопросы как ветром сдуло — зарыдала я и остановиться не могу. Шесть часов батюшка у меня в палате просидел, всю мою душу перевернул, исповедалась я тогда первый раз с восьмилетнего возраста, когда после ареста роднтелей в детскнй дом попала... причастнлась. А вечером, как врачн ушли, пришёл он с матерью Таисией, просфорницей соборной, тайной схимонахней, Царствие ей Небесное, голубушке святой, н постриг меня «на смерть» с именем Серафнма, в день тот память Серафимушки Саровского, чудотворца, была. Чётки в руку вложил: молнсь, говорнт, монахння — ангелом станешь! Вот так я с тех пор по этим чёткам н молюсь, нзноснлнсь вон уж, а поменять жалко — первое благословенне в монашестве. Я тогда, после пострига, трн дня не ела, молилась только и святую воду пила, а через две недели рентген показал, что лёгкне чистые и метастазы ушли отовсюду. Через месяц после пострига я уже матери Таисии в просфорне помогала... А когда батюшку Флавиана сюда, в Покровское, настоятелем назначили, он меня к себе келейнцей взял. Так вот и живу вторую жизнь под батюшки Серафнма

Саровского покровительством, у батюшки Флавиана на послушании. Слава Богу за всё!

— Именно — Богу слава! — внезапно прогремел весёлый голос отца Флавиана. — А то я стою тут, в сенцах, повесть о чудесах самого себя слушаю, ведь возгордиться могу ещё больше, мать Серафима! Я и так гордец да тщеславник великий!

— Отче честный! Прости грешницу окаянную за болтливый язык! — прямо со скамейки бухнулась на колени старая монахиня. — Епитимью наложи, батюшка мой драгоценный!

— Вот тебе эпитимия, старица велехвальная, расскажи Алексею, как ты меня в позапрошлом году от смерти в Выползках спасла!

— Батюшка! Помилосердствуйте! То вас Господь спас, молитвами Матушки Царицы Небесной!

— Спас-то Господь! Да чьими руками? Ладно уж, молчи, мать, чайку мне лучше налей, горяченького, я сам расскажу.

— Батюшка!

— Ничего, смиряйся, мать!

— В позапрошлую зиму соборовали мы с Серафимой за семь вёрст отсюда старичка одного, бывшего раскольника-старообрядца. Перед смертью он захотел, по уговорам жены, к Церкви Святой присоединиться, пособороваться и причаститься — на девяноста третьем году жизни захворал впервые. Туда мы на моём

уазике приехали, а Выползки те — глухомань, не деревня даже, а хутор — четыре двора. Присоединил я Стефана к Православной Церкви, пособоровал, причастил, на крыльцо вышли, а я — бух и в сугроб! Инфаркт приключился! Хорошо, Серафима — кардиолог бывший, что-то там со мной повозилась, видит — выжить могу. Только надо меня скорей в больницу к медикаментам там, оборудованию. А как добраться-то? Я без сознания. Телефона в этих Выползках и не видали никогда, живых, кроме Стефана да его старушки, на два года его младше, никого нет, а машину мать Серафима тогда водить не умела (после того случая — в её-то годы — выучилась!).

— Ну и признайся, мати всечестная, как ты — мышонок этакий — мою тушу на санях семь вёрст в мороз протащила, а?

— Не пытайте, батюшка, я сама не знаю, одной милостью Господней да Пречистой Заступницы ходатайством! Я только тянула верёвку да молилась: «Матерь Божья, Господи! Спасите батюшку моего! Ради чад его духовных, Господи, помоги, не оставь их сиротами!» Слава Господу — помиловал!

— Вот, Алексей, видишь! Перефразируя классика — есть монахини в русских приходах!

— Полно вам, батюшка, над глупой бабкой смеяться! Скажите лучше, удачно съездили? Причастилась старушка-то?

— Да уж — съездил! Старушка-то, знаешь, кто была? Сама Варвара из Дубровки, она в Горбунове у дочки Елены в дому лежит.

— Господи, помилуй! — испуганно перекрестилась мать Серафима. — Неужто Варвара покаялась?

— Ну уж, конечно! Жди от бесов покаяния! Варвара эта, чтобы ты знал, Алексей, есть пока ещё первая и знаменитейшая в наших краях ведьма — экстрасенс посовременному. К ней клиенты не только что из Москвы, а бывает, и из-за рубежа приезжают. Лечит, естественно, от всего, порчу снимает, наводит, сводит, разводит, повышает, гадает, предсказывает и т. д. — словом, весь положенный набор. Только, в отличие от большинства современных шарлатанов, результат — почти стопроцентный, правда, и последствия тоже.

— А что значит — «последствия тоже»?

— А последствия — значит, что народная поговорка про давание бесу пальца — верна до сих пор. Ну вот недавний пример: Галина, продавщица из Тарбеевки — пил у неё муж. Пил сильно, там, в райцентре, многие так пьют. Лечила она его и в диспансере, и по Довженко, и ещё как-то, приезжала и ко мне сюда. Я её спрашиваю: ты когда причащалась-то сама в последний раз, сколько лет назад?

— А она мне: а при чём здесь я? Муж же пьёт, а не я, мне его излечить нужно! Вы скажите, сколько денег надо, чтобы вы его исцелили?

— Я ей: муж-то — твой, и скорбь, стало быть, тоже твоя, тебе же Господь эту скорбь не просто так попустил терпеть, а за твои грехи. Очистись сама от грехов, наладь с Богом правильные отношения, тогда и мужу сможешь помочь, а деньгами-то этого не купишь! Приготовься к исповеди, попостись хоть пару дней да приезжай к службе — будем тогда о твоих проблемах разговаривать.

Не захотела. Деньги заплатить проще, чем свою совесть перекапывать да жизнь исправлять. Пошла к Варваре. Та ей водичку нашептала, научила, как мужа напоить. Выпил он той водички, и пьянство — как отрезало, запаха водки терпеть не может. Галина месяц от радости плясала, на каждом углу Варвару рекламировала да попов поносила. А муж её на хорошую работу устроился, деньги большие начал домой носить. Но уж больно сильная жадность у него к деньгам проявилась, Галине или дочке носового платка не купит, всё прячет и копит. А на третьем месяце «исцеления» выгнал он Галину с дочкой из квартиры, привёл молодую и ублажает её, как королеву, — работать не разрешает, подарками осыпает. Эта молодая чуть не в открытую с другими гуляет, а он того словно и не видит. Сидит теперь Галина с дочкой у матери в её «полдоме» на окраине да судьбу проклинает. Плачет, говорит — лучше бы пил, как раньше.

Или вон у Ирины Мальцевой: сын от своей жены к соседке жить перешёл, этажом ниже, та с полгода терпела, потом — к Варваре: верни, мол, жить без него

не хочу! Варвара что-то с фотографией его поколдовала — вернулся. Сам! Как и не уходил. А через две недели в ванной на трубе повесился. Вот тебе и последствия! Я тебе таких примеров рассказывать могу — суток не хватит. А механизм везде один: с бесами общаться — игра в одни ворота, всегда проиграешь!

— Отец Флавиан! Подожди-ка! Так что ж, эти целители и «бабки» силой бесовской, что ли, лечат?

— А чьей же ещё? Господь дар исцелений святым, и то не всем, даёт за чистоту жизни, за молитвенный подвиг, за служение в исполнении заповедей Его. А дьявол свою силу, опять же, если только Бог попустит, тем даёт, кто ему, рогатому, служит, свою да чужие души губит, вон — как Варвара та же.

— И что же, она так и не раскаялась?

— Трудно, Алексей, колдуну раскаяться, почти что и невозможно, хотя бывают и исключения — священномученик Киприан, например. Настолько общение с дьяволом душу убивает, что колдун уже и захотеть раскаяться становится не способен — вот ведь что страшно. Ведь пока душа ещё живая, она способна Бога почувствовать, лишь только захоти крикнуть: «Господи, прости!» А Господь уже рядом и простить готов, и все твои раны греховные Своею неизреченною любовью залечить. Но для покаяния нужно себя грешником ощутить, преступником Закона Божьего. А это значит, и Самого Бога над собой как Владыку и

Законодателя признать. Этого-то колдуну дьявол сделать и не даёт, он же колдуну внушал всё время их общения: ты сам — бог! Твори волю свою, ты выше других людей, вот и силы у тебя сверхъестественные! Тяжко, напитав душу такой отравой, себя унизить потом да перед величием Истинного Бога смириться. Оттого и помирают колдуны чаще всего мучительно, без покаяния. Вон и Варвара: я, как узнал, к кому пришёл, подивился, конечно, но думаю — всякое в жизни бывает, вдруг Варвара и впрямь покаялась!

— Захожу к ней в комнату, лежит на диванчике под одеяльцем маленькая старушонка, беленькая такая вся, личико такое благообразненькое, голосочком слабеньким таким блеет: «Ба-а-атюшка, помира-аю, ножки не ходят, пло-охо мне, причасти меня, ба-а-атюшка!» — «Хорошо, — говорю, — а от сатаны отрекаешься?» — «Нет! — как рявкнет, аж подбросило её на кровати, глаза сверкают, трясётся вся. — Сам, попишка, отрекайся от Распятого своего!» И тут же снова: «Ба-а-атюшка, — голоском замирающим, — пло-охо мне, причасти меня, ба-атюшка!» — «А силу-то свою кому передала, Елене, что ли?» — «Мужу её! — опять голос сильный, с порыкиванием. — Семь дверей с крестами пройдёт, летать будет...»

Перекрестил я её, произнёс: «Под знамением образа Креста Твоего, Господи, да расточатся вся сопротивныя силы!»

Поёжилась под одеялом, как от холода: «Уйди, поп, не тебе здесь рукой махать...»

Я и ушёл. Там мне и вправду делать нечего. Жалко, конечно, душу человеческую, в огонь идущую, но, как говорится, вольному — воля, спасённому — Царство Небесное!

— Это что ж выходит — так сильны эти бесы?

— Нет, Алёша, не бесы сильны, а человеки без Бога слабы. Апостол Павел в послании к Филиппийцам пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Так и любой христианин, живущий во Христе, имеет от Него благодатную защиту и силу противостоять козням и нападением бесовским. К такому рабу Божию дьявол подобраться не может — сила Божья пламенем опаляет нечистого. А к безбожнику — дорога широкая — валяй, искушай! Тот и не заметит, как уже в рабстве у какой-либо страсти бесовской окажется...

В дверь постучали: «Молитвами святых отец наших... Господи, благослови!»

— Аминь! — прогремел Флавиан. — Входите!

Дверь отворилась, и в неё даже не вошла, а просочилась высокая худющая старушка с перепуганным лицом.

— Ой! Батюшка! Христа ради, простите! А я не знала, что вы здесь, я к мать Серафиме на минутку. Я уж пойду, простите, я всегда некстати!

— Кстати, кстати, Марфа Андревна! Как нельзя более кстати. Садись, чайку с нами выпей...

— Неловко, батюшка, поздно уж...

— Грешить должно быть неловко! А чайку с батюшкой выпить очень даже ловко. Садись, угощайся, тебя прямо Господь послал. Мы вот тут с гостем из Москвы про бесов толкуем... А ты вот расскажи-ка гостю, как ты в детстве «змея» видела, да про Аниного «мужа»...

— Про Нюрку, что ль? Не к ночи такие рассказы-то, батюшка, как я по темну-то домой пойду? Я ить ох и боюсь!

— А ты, Марфа, крестным знамением себя осеняй почаще да с молитовкой-то и дойдёшь, с Иисусовой, ангел охранит.

— Хорошо, батюшка, за святое послушаньице расскажу...

Это ведь аккурат после войны, в сорок шестом было, зимой. Мне тогда двенадцатый годок как раз пошёл. Мы с сестрой да Маняшкой соседкиной, той всего семь было, у Ефимова двора, как обычно, с горки на салазках катались. Вдруг — ох! — змей по небу огненный, вот как звезда, падает, с искрами, бах — и прямо к Нюрке во двор, что через два дома от горки нашей. Мы сперва спугались, конечно, потом, любопытно ить, побежали посмотреть. Глядь за забор — а там и нет ничего. А была та Нюрка солдатской вдо-

вой, её мужа ещё в сорок третьем убило, так убило, что и хоронить нечего — в танке сгорел, одни документы потом прислали. И вот мы того змея несколько вечеров подряд видели, как падал. А после ничего. Сказали мамке, та — бабуле. Потом они вместе к монашкам пошли, сосланные жили у нас три, старенькие уж. Посовещались они там и — к Нюрке. Расскажи, мол, Нюра, что за гости тебя по ночам беспокоют, всё ль в порядке у тебя? А та побелела вся, дрожит, уходите, мол, дети спят, никто у меня не был, всё у меня хорошо, уходите!

Бабушка моя, Царствие ей Небесное, сильно молящая была, говорит ей: «Нюра, милая, ты хоть в зеркальце-то глянь на себя, что с тобою за неделю стало-то! Высохла вся, почернела, круги вон аж зелёные вокруг глазонек-то! Ой, не без лукавого здесь! Берегись, Нюшенька, доченька! Ведь и жизнь, и душу навеки погубит, а твои ж детки-то кому останутся? Поделись, милая, что с тобой происходит?»

Та по-прежнему: «У меня всё хорошо, уходите, я сама разберусь!»

Однако, видно, задумалась, ладану-то от монашек и «Живые помочи» взять не отказалась.

А через день порану, мы с сестрой ещё на печке только проснулись, вбегает к нам эта самая Нюрка и бух — бабушке в ноги: «Авдотья Силантьевна! Спасительница моя! Век за тебя молиться буду!» — и в слёзы.

Мать с бабушкой её с полу подняли, чайком отпоилн, та н рассказала.

В ту ночь, когда мы с сестрой в первый раз огненного змея видели, сразу после полуночн Нюрке в окно постучалн. Нюрка от этого стука чуть в обморок не упала — стук-то был заветный, тот самый, которым убненный муж Нюркнн, воин Николай, ещё в женихостве её на прогулки вызывал.

А надо сказать, любила Нюрка своего Николая беззаветно, безумно, после похоронки три дня в забытьн была, а потом полгода белугой ревела. И то сказать, Коля её мужнк был справный, видный из себя, работящнй, вина в рот не брал... И погнб он героическн — в горящий танк за раненым командnром вернулся, да так и задохнулись оба, не успелн выбраться н сгорели.

Глянула Нюрка в окно, а там её ненаглядный отплаканный Коленька — живой стонт, палец к губам прикладывает и на дверь показывает — открой, мол...

Открыла, зашёл он, бледный весь, глаза горят, вздрагнвает. Нюрка — нн жива нн мертва. А он ей: видишь, мол, жнв я, в плену был, бежал, потом по чужим погребам прятался, чтоб в НКВД как предателя не расстрелялн, вот теперь тайком сюда добрался. В лесу, мол, неподалёку убежнще сооруднл, прншёл вот... Нюрка опомнилась, кинулась обнимать, целовать, кормнть, спать с собой уложила... А под утро он ушёл в

«убежище» своё. Наказал молчать обо всём. А то, мол, схватит меня НКВД и расстреляет.

Нюрка потому и отнекивалась от нас, что проговориться боялась, как бы Колю любимого под расстрел не подвести.

На другую ночь опять пришёл. Поел, попил, потом стал Нюрку уговаривать: давай, мол, уйдём отсюда, всё бросим и уедем туда, где нас не знает никто. Я, мол, себе другие документы сделаю, ну и заживём опять счастливо.

Нюрка:

— А как же дети-то, вон малые оба в кроватёнке в углу сопят, как их-то с собой в зиму потащишь?

А он:

— Оставим их пока здесь, люди добрые присмотрят, а как устроимся на новом месте, так и заберём к себе как-нибудь. Пойдём, мол, прямо сейчас...

А Нюрке-то страшно — как детей-то бросить, дом, корову хорошую — отелилась недавно, да и вообще... И ещё неуютность какая-то в присутствии мужа «воскресшего» ощущается, как-то холодит, что ли... Ну не может она решиться пока.

Он под утро опять ушёл, про молчание напомнил.

И вот так пять дней — каждую ночь. И с каждым разом всё настойчивее уговаривает, ну и по-мужески утешает... Нюрка уже вроде и согласиться была готова, а тут — мы, с монашкиным ладаном. Что-то, видно, и так сердце её чувствовало.

Словом, после посещения её мамкой с бабушкой святыньки она в изголовье детской кроватки припрятала да перекрестила детей, на сон грядущих.

Пришёл он опять, весь какой-то дёрганный в этот раз, нервный: бежим, мол, давай, прямо сейчас — ЧК на хвост села, убежище в лесу нашла, до утра схватить могут.

А она:

— Ты хоть детей-то поцелуй на прощанье, подойди, попрощайся с кровинушками.

А его от того угла, где кроватка детская, аж воротит, кривится весь... Отговорился как-то скомкано и ушёл, сказал — новое убежище искать. А Нюрка по его уходе всю ночь не ложилась — думала. Под утро из сундука бабкин молитвослов, в первый раз с мужниной смерти, достала, начала утрешние молитвы читать. А к ночи «Живыми помочами» обвязалась, по всем стенам угольком крестов наставила, над притолокой да окнами ладаном посыпала, Богоявленской водой весь дом окропила и с молитвословом за стол — Покаянный канун читать села.

В полночь дверь распахнулась, «Николай» на пороге стоит, глаза горят, как угли: «Ну что, дура! Догадалась, наконец!»

Как хлопнет дверью, аж дом задрожал, и исчез...

А Нюрка до рассвета с колен не вставала, всё молилась, а как рассвело — к нам прибежала.

Вот, батюшка милый, и всё, наверное...

— Ну, брат Алексий, как тебе историйка?

— Прямо не верится, отец Флавиан, неужели вот прямо так и было? Неужели бес настолько материализоваться может, что и от человека не отличить? Вон он же и ел вроде, и пил, и с Нюрой этой, если я правильно понял, близкие отношения имел? Неужели так бывает?

— Ох, Лёшенька, то ли ещё бывает! Так эти твари материализуются, что и едят, и пьют, и с женщинами в близость вступают, и избивают. Серафиму вон, Саровскому чудотворцу, такое бревно в келью зашвырнули, что несколько человек еле вытащили. А скольких святых избивали — почитай жития! Естественно, творят они это не по своей воле, а когда Бог промыслительно попустит. Сами-то они и в свинью без разрешения Господня войти не могут.

— С огромным интересом жития почитаю, да и не только жития, наверное, — мне теперь про всё это знать очень хочется! Но ты скажи мне, для чего бес к Нюре-то этой являлся, куда идти уговаривал?

— Как — куда? Простите, батюшка, что встреваю, — повернулась ко мне Марфа Андреевна. — В преисподню горящую али в тартар ледяной! Так же, как Клавку из Дегтярёва!

— Как в преисподнюю?

— Да вот так! Сватья мне рассказывала, она с Дегтярёва сама, такое же дело у них было, тоже в году

сорок шестом али в сорок седьмом, да тож и зимою. Они, сватья то есть с детьми другими, под косогорчиком на реке, на льду крепость строили, играли, значит. Видят — а Клавка, Ерофеева, кажется, тоже вдова военная, под гору спускается в платишке домашнем, фартуке, да босиком по снегу. Идёт, как опоённая, глаза пустые, ровно не видит никого, и мимо детей, значит, к проруби, где бабы зимой бельё полоскали. Дети от страха закричали — она от того крика-то и очнулась. А уж за шаг от проруби остановилась! Как потом бабам-то она рассказала — тоже ить «муж» убитый объявился, тоже и с ним уйти уговаривал. Уговорил. Чуть-чуть не довёл, вот только, по милости Божьей, дети помешали. Она так и сказала — рядом с мужем шла!

— Вот видишь, Алексей, — подхватил Флавиан, — каковы цели и задачи лукавого — и душу, и тело погубить!

— А вот скажи, отец Флавиан, а через что же эти Клава да Нюра подставились? Помнишь, ты мне говорил, что просто так бес власти над человеком не получает, человек сам подставиться должен?

— Подставились они, как ты говоришь, Алёша, через уныние. Страшное состояние души. В этом состоянии душа человека полностью изолирована от Бога и лишена Его благодатной защиты. Следующим за унынием состоянием души является отчаяние — тоска и не-

стерпимое желание, любым способом, прекратить эту муку, в которую уныние превратило жизнь человека. Абсолютное большинство самоубийств происходит именно в этом состоянии души.

— Так вот, и Клава, и Нюра, как, к сожалению, и многие солдатские вдовы, не имеющие правильного — православного — душевного устроения, попались в сети уныния и были доведены бесами до погибели. Кстати, я читал материалы исследования профессора Богуславского, известного специалиста в области психиатрии, который провёл исследования более двухсот случаев, подобных тому, что произошли с Клавой и Нюрой. Оказывается, явления «убитых мужей» вдовам, «зациклившимся» на своём горе, были нередким явлением в период с 1945-го и даже до 1956 года. Материалы эти были изданы малым тиражом и под грифом ДСП (для служебного пользования). Доступны они стали только при начавшейся перестройке.

— Батюшка! Благословите домой, ещё раз простите... — Марфа Андреевна встала перед отцом Флавианом со смиренно сложенными сухими ладошками.

— Благословен грядый во имя Господне, иди с миром, вот Алексей тебя проводит, ему рядом с тобой, к Семёну. Ну, с Богом, Алексей! Отдыхай до завтра!

На пути от Марфиной избушки до Семёнова чердака я часто крестился.

ГЛАВА 6. **ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ**

Спать у меня не получилось. Едва задремав на пахучем сенном ложе, я вдруг проснулся. Сна — нн в одном глазу, зато мысли — что цветное кнно! И всё яркие такне, отчётливые...

Сперва Ирка вдруг вспомннлась, как мы с ней познакомилнсь в сквере за ннстнтутом: стоит, плачет — зачётку потеряла с пятёркамн, сама — хрупкая такая, с косой цвета свежеструганной липы, в береточке снненькой, мягкой такой, и тушь по щекам размазывает...

Прямо будто плачь её слышу, горький, сиротливый. Даже как-то сердце у меня вдруг заныло — как она там — в этой больнице?

Стряхнул головой видение, а тут новое — машнна моя вскрытая с сиденьями вспоротыми и панель приборов оплавленная — даже дёрнулся — может, закрыть сходнть? Потом плюнул — ну, коли опять ограбят, так туда н дорога, больно уж я над всем этим железным барахлом за свою жизнь натрясся. Господи! Прости

меня, крохобора! Детство вдруг вспомнилось, как у тётки в Челюскинской по приканальному шоссе на велике гонял, «Орлёнке» с красными шинами, шоссе закрытое, машин нету и — летишь, обдуваемый летним упругим ветерком, кем только себя не представляя (в основном Гойко Митичем из фильмов про Чингачгука). А в лесу, рядом, белки ручные — постучишь орешками друг об друга, позовешь «чока-чока!» — спустится вниз головой по сосне и с ладошки орешек возьмёт, деликатно так... Господи! Как же я счастлив был в то время! Тут вдруг Ирка опять перед глазами — было же и нам с ней хорошо когда-то... И любовь была — с розами в целлофане, с билетами на Таганку дефицитную, с мороженым на качелях в Сокольниках, с окуджавскими песнями у костра... А уж как мы целовались на лестнице в общежитии! Тут вдруг черти какие-то представляться стали, мерзкие, как в фильме «Особь» голливудском. И лезут ведь, лезут в глаза — тьфу! Я даже перекрестился. И ведь что интересно, исчезли! Потом монастырь вспомнился Новодевичий, как я гулял по нему, когда у Ирки после второго аборта осложнения начались. Лежала она там неподалёку в клинике, а я время приёма перепутал, и пришлось полтора часа прогулять в Новодевичьем. Вспомнил! Вот тогда я в церковь-то и заходил в первый раз и до сегодняшнего дня — последний. Точно! И икона там была, как зайдёшь — слева, кажется, Никола Угодник,

красивая такая, величественная, прямо даже благоговение какое-то я около неё почувствовал. Помнится, даже просил я у Николы того что-то за Ирку, может, и пообещал чего — не помню... Леночка вспомнилась, из счётного отдела, — ну чисто Барби целлулоидная... Господи! Что ж меня в ней привлекало-то, ноги, что ли, под полоской мини-юбки длиннющие? Пуговки эти, на груди расстёгнутые, со знаком Зодиака, из-за пазухи вечно вываливающимся? А лицо-то! Я ж его толком и вспомнить не могу! Господи! Что ж это у нас, мужиков, с глазами? Или с мозгами? Тут вдруг фреска передо мной встала, из Флавиановой церкви здешней. Великомученица Екатерина. Стоит с крестиком в руке, лицо тонкое, красота в нём какая-то торжественная, а глаза смотрят прямо на тебя, кротко так, с любовью, и грустные. Как у Ирки перед больницей, когда она у меня денег на операцию занимала. Как она там? Позвонить завтра Женьке, что ли? Снова гадость какая-то в духе Сальвадора Дали замаячила: люди — не люди, звери — не звери, бесы, что ли, опять... Тьфу, пакость! Господи! Это если я в ад попаду, эта мразь меня вечно окружать будет? Да ещё и вытворять со мной всё, что захочет? Нет! Нет! Нет! Что-то мне в этот ад сильно не хочется! Надо и вправду, что ли, исповедаться... Прямо завтра! То есть сегодня уже, а то — вон светает в оконце.

Тут-то я и провалился в сон.

Сон был недолог, но лёгок и чист. Проснулся я с ясной головой и с радостной уверенностью, что знаю, какое важное дело мне необходимо совершить сегодня.

В конце завтрака, в ходе которого я героическим усилием смог не объесться, как вчера, до полного осоловения (а было чем), я спросил Нину, подававшую нам с Семёном к чаю зарумяненные пышущие печным жаром плюшки:

— Ниночка! Скажите, а исповедоваться страшно?

— Страшно, конечно, Лёшенька, ужас как страшно! Как подумаешь — вот батюшка любит нас так, молится за нас, переживает, старается души наши в чистоте к Царствию Божию привести, а я, свинья окаянная, опять его буду грязью своей греховной расстраивать. Стыдно! Одно только утешает, что ангелы на небесах грешнику кающемуся радуются. Да и батюшка наш Флавиан тоже ведь, как ангел небесный, глядишь, и порадуется моему старанию от душевной скверны отскрестись. Он ведь, когда молитву читает «Прощаю и разрешаю от всех грехов твоих...», с такой любовью эти слова произносит, что прямо чувствуешь, что это не он, а Сам Христос невидимо пред тобой стоит и батюшкиной рукой тебя благословляет. Встанешь с коленочек и словно летишь, а не ходишь, радость прощения и очищения в сердце, как колоколами на Пасху, звенит! Дивно как хорошо! Так бы и умерла от счастья!

— Господи! Ниночка, да разве ж от счастья умирают? По-моему, когда человек счастлив, ему наоборот — жить хочется!

— Это, Алексей, правильно — хочется жить, — вмешался в разговор Семён, — только вот апостол Павел пишет: «...Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». То есть когда сердце человека радости вкусит, оно к ещё большей радости тянется, а уж большей радости, чем соединиться со Христом и вместе с Ним быть, для христианина нету. Страшно умирать грешнику нераскаянному, душа чувствует тот ужас, который её ожидает, и трепещет. Потому и цепляется за жизнь земную — хоть чуть-чуть ещё, хоть минуточку! А кто ко встрече с Богом всю жизнь готовился, исповедью очищался, Причастием душу укреплял, тому умереть — что в дверь выйти, трепетно, конечно, волнительно, но надежда на Любовь Божью ужас и панику прогоняет. Раз Христос сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» — то так тому и быть, стало быть, и бояться смерти не нужно! Нужно только веровать во Христа Господа и изо всех сил стараться быть таким, каким Он хочет тебя видеть — любвеобильным!

— Ну, знаешь, Семён, мне бы вот такую, как у вас с Ниной, веру — я бы счастливейшим человеком был. Ты вот сейчас прямо как священник, так складно всё объяснил, и откуда же ты всё это так хорошо знаешь-то?

— Ох, ты, Лексей, и сравнил — со священником! Я и в коврики не гожусь у священника под ногами! То, что знаю чуть-чуть, так это от Писаний Священных, а они всем доступны — только бери да читай, да от батюшки Флавиана, нашего отца духовного, спаси его Христос!

— А что значит — «отец духовный»? Это так священников называют?

— Не всех, Лексей, только своего духовника.

— Семён, объясни мне, дремучему, Бога ради, что значит «духовник», «отец духовный», и чем он от других священников отличается?

— Чем? Да чем отец родной от других людей отличается? Хороших людей много, а родной — только один. Так и с духовником. Много есть, слава Богу, хороших батюшек, а духовник — тот, который — родной. Который, как отец, тебя в жизнь духовную родил, маленького из ложечки кормил, на ногах стоять учил, своею молитвою оберегал, у которого за тебя душа, как за родное чадо, болит, к кому ты и днём и ночью в беде прибежишь и его любовь встретишь, кто тебя по духовной жизни ведёт, а случись помирать, так и в вечность проводит, Святыми Тайнами напутствует и над гробом «вечную память» пропоёт. Счастлив христианин, которому Господь такого отца духовного дарует! Мы вот с Ниной денно и нощно Господа за батюшку Флавиана благодарим — редкой широты души и любви пастырь.

А молитвенннк какой! Днём всё с намн, грешникамн бестолковыми, как с детями малыми, возится, а когда мы — на подушку, он — на молитву. Я не раз, порану на охоту или рыбалку ндучи, замечал — абажурчнк у него в моленной келейке под самое утро лишь гаснет. По молитвам ему Господь н силы даёт, и разума духовного, н любви обнльно. А люди-то любовь эту сразу чувствуют да, как пчёлки на сладкий мёд, к нему н слетаются, сердечного тепла да ласкового утешення ведь каждой душе хочется. А у батюшкн Флавнана этого тепла — море, иной раз еле на ногах стоит, больной ведь весь, а людям прнходящим н время, н снлы без меры раздаёт. Вот н едут к нему в нашу глухомань н местные, н столнчные, а то н ещё дальше. Намедни вон при мне двух поляков нз латннства нхнего в православие переводил, я и то подумал — больше, что лн, храмов другнх в России не нашлось, кроме нашей деревеньки? Господь-то, видишь, Своим неисповедимым Промыслом их почему-то к нашему батюшке прнвёл!

— Подожди, Семён, а как же другие священники, онн что — хуже, что ли?

— Нет, Лексей. Все священники — святы. То есть не лично святы, они тоже люди и, как и мы, — грешные. Но как носители благодати Духа Святаго, Которым в Таннстве Священства освящены и Которым все священнодействия совершают, — святы и для нас драгоценны. Во все времена христнане больше всего священ-

ников берегли, в гонениях прятали, обеспечивали всем необходимым, кормили, содержали — понимали, что без священника ни Крещенья, ни Причащенья, ни грехов прощенья. А христианин понимает — от воды и Духа не родишься, Тела-Крови Христовых не причастишься, от грехов не простишься — в Рай Небесный дорога заказана!

— А если священник — пьяница, ну к примеру, или развратник, или ещё чего, ну бывают же всякие, наверное, как же Дух Святой через него действовать может?

— Господь в Евангелии говорит: «Дух дышит, где хочет...», потому для действия Духа Святого грехи священника не препятствие, тем более что благодать священнику даётся не ради него самого, а ради тех, кому он служить должен, то есть ради народа Божьего. Об этом и святитель Иоанн Златоустый пишет. Тебе большая разница, сколько мужей у медсестры было? Лишь бы укол хорошо сделала да лекарство не перепутала! Так и священник, за грехи свои сам ответит, только во сто крат строже, чем мирянин, лишь бы дело своё исполнял — священнодействовал. Другое дело, что за советом уже не к каждому попу пойдёшь, тут уж нужен духовный да опытный, да ещё человеколюбивый, вон как батюшка наш Флавиан. А такие, к сожалению, не у каждого престола стоят, хоть и надо бы. Потому люди, как прознают про «доброго пастыря»,

так и едут к нему, и идут. Не говоря уж про старцев, те вообще тысячами принимают.

— Старцы — это старые священники?

— Не только старые, бывают и не очень в годах, в «Святцах» вон даже отрок, имевший дар старчества, поминается. Старцы не от годов, а от возраста духовного да от Дара Божьего. Обычный священник, он ведь от своего ума да духовного опыта паству наставляет, советы даёт. А старец не своим, но Божьим разумом руководится, ему что Господь о человеке шепнёт, старец то тому и передаст. Потому и идут к старцу — о себе волю Божью узнать. Это дар особый, у нас на всю Россию их сейчас — одной руки сосчитать хватит, известны которые. Хотя, может, «под спудом», то есть миру не явленные, и ещё есть. Да и раньше, то есть до революции большевистской, тоже не на каждом углу встречались. А уж где Господь являл, туда вся Россия православная ехала. Что к батюшке Серафиму Саровскому, что к оптинским старцам или в Глинскую пустынь, к Иоанну Кронштадскому, чудотворцу, в Питер или в Москву к батюшке Алексию Мечеву. Понял, Алексей, — есть просто священнослужители, иное есть духовники, а иное — старцы.

— Вроде как понял. А отец Флавиан — старец?

— Нет. Батюшка Флавиан — «пастырь добрый», полагающий душу за ближних. Может, и даст ему когда благодать старчества Господь, а может, и нет, то Го-

сподня воля. Оно ведь, Бог и любого священника для спасения твоего использовать может, может через него и чудо явить, коли оно тебе для спасения души необходимо, дар прозорливости ему приоткрыть, коли надо. Вон ведь в Библии же описано, как по воле Божьей и ослица Валаамова заговорила, пророка вразумляла.

— Как, ослица пророка вразумляла?

— А ты, Алексей, вот как Библию читать начнёшь, то не только про ослицу узнаешь, а и вообще — весь мир для себя заново откроешь. Знаю, что говорю — сам через это проходил. Только вот старцев да чудес специально искать не надо. Коли нужно — Бог Сам пошлёт. Вся наша жизнь, лишь открой глаза, сплошное чудо. А охотников за чудесами бесы шибко любят охмурять.

— Да, Семён! Про жизнь-то я уже понял, что она — чудо и что я её совсем не понимал раньше. И про бесов тоже. А как ты думаешь — согласится отец Флавиан у меня духовником стать, как у вас с Ниной?

— Это уж ты, Алексей, у него самого спроси, как я могу знать — дело-то уж очень личное.

— Прямо так и спросить?

— Так и попроси. Возьми, мол, отче, надо мною руководство. А то заблудиться боюсь.

— Спасибо, Семён! То есть, как правильно? Спаси вас с Ниной Бог! Так?

— Так, Лёшенька, — радостно кивнула Нина.

— Ну, тогда ладно, пойду-ка я батюшку Флавиана поищу...

— Ангела в путь, Лёшенька!

Флавиана я нашёл под забором.

Едва войдя в церковную калитку, я увидел его обширное тело распростёртым на животе головой к церковной ограде. Мне послышалось, что Флавиан невнятно разговаривает о чём-то сам с собой. Оправившись от первого шока, подумав — а вдруг это опять сердечный приступ, я кинулся к нему на помощь. Подойдя ближе, я увидел не замеченного прежде за гигантским туловищем батюшки мальчонку лет четырёх, так же, как и Флавиан, лежащего на пузе и во что-то сосредоточенно вглядывающегося. Флавиан терпеливо объяснял ему:

— Вот, Тиша, видишь — ещё один муравчик побежал с иголочкой сосновой туда же, куда и другие, — укладывать. А вот эти стоят, усиками шевелят — они охраняют строителей. Это — муравьи-солдаты. Кто их так жить научил — одни строят, другие охраняют, третьи на разведку ходят, ну всё почти как у людей, а?

— Боженька! — радостно воскликнул малыш.

— Правильно! Конечно — Боженька! Он муравьям законы установил — как жить, и они Его, Боженьку, слушаются. Потому у них всё так складненько и получается, видишь? Вон скоро и муравейник готов

будет. Так же и мы, люди, должны Боженьку слушаться, помогать друг другу, с сестрёнкой не ссориться, от бабушки в лесу не убегать, сушки не таскать без спросу, тогда и у нас всё в жизни хорошо получаться будет — и мамка не заругает, и бабуля плакать не будет.

— Я не буду больше! Я буду Боженьку слушаться!

— Молодец, Тихон! Вот это — правильно! Беги скорей к бабушке, поцелуй её, прощенья попроси, а то она сильно за тебя переживает — а вдруг тебя в лесу волки съели?

— Я бегу! — топот маленьких босых пяток быстро стих за калиткой.

— Доброе утро, батюшка Флавиан! Тебе помочь встать?

— Утро доброе, Алёш! Сейчас, попробую сперва сам...

Он качнул свою тушу в одну сторону, затем резким рывком в противоположную, встал на четвереньки, шумно фыркнул и, слегка покряхтывая, выпрямился на ногах, после чего опять шумно фыркнул.

— Уф! Да, Лексей, как говорится, — старость не радость, а спасительная неизбежность!

— Да ладно уж, отец Флавиан, — старость! Тебе сорок пять-то есть?

— Сорок шесть, Лёша. Но старость, она не в годах, она в грехах! Вот они-то и старят. И свои, и чужие. Геронтологи наши российские доисследовались

(я тут недавно статью одну читал в медицинском журнале), что человеческий организм, с его способностью к регенерации, устроен так, что если исключить некий, не присущий самому организму «ген разрушения», то человеческий организм способен жить вечно. Прямо всё по Библии — человек создан для вечной жизни! И вот этот-то «ген разрушения», словно компьютерный вирус, разрушая заложенную Богом в человека программу вечной жизни, становится человекоубийцей. Он же и есть — грех! Сказано было Адаму: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А Адам не послушался и вкусил, и «вирус» смерти вошёл в него, и стал человек смертным. Это называется первородный грех — первый грех, рождённый человеческим непослушанием Богу.

— Подожди! Так это и есть то самое «яблочко», которое Адаму Ева дала?

— Ну да! А Еве — змий, то есть диавол в виде змия.

— Так, опять подожди, а почему же дерево — «деревом добра и зла» называлось, если его плоды были так смертельны?

— «Познания добра и зла»! — это не одно и то же. Дело в том, что Адам, созданный по образу и подобию Божию, был, соответственно, создан абсолютно и со-

вершенно добрым. Стало быть, добра он познать от этого дерева уже не мог, но только — зло. А зло — смертельно для впустившего его в себя, об этом, собственно, Бог и предупреждал. То есть, грубо говоря, Господь предупредил: не суй палец в розетку — убьёт! К этому, собственно, и все последующие заповеди сводятся: «не убий», «не укради» и прочие, так как, совершая любой грех против ближнего, ты убиваешь этим самого себя.

— Вот как! А не проще Богу было не создавать этого дерева, тогда бы и Адам не согрешил? Да и вообще, зачем было Богу создавать зло?

— А Бог не создавал зла.

— Как не создавал? Он же всё создал из ничего, если я правильно помню. Значит, и зло Он создал?

— Нет, Лёша. Бог зла не создавал. Зло возникло как следствие отпадения от Бога части созданных Им ангелов. Собственно, зла как творения не существует.

— Ну, ничего ж себе — не существует! Вон его сколько вокруг!

— Объясняю: вот, например, свет — помнишь физику? — материален, то есть состоит из мельчайших частиц сотворённой Богом материи. А тьма? Её нет. Хотя мы её видим. На самом же деле, темнота есть лишь отсутствие света. Открыл окно — есть свет и нет тьмы, зашторил плотно — нет света и есть тьма. Так и добро. Оно есть свойство Сущего, то есть

Существующего Бога. Следовательно, добро тоже существует. Бог изливает Своё добро на всех, готовых его принять и вместить в себя. А зло есть отсутствие добра. Ну или как воздух — он состоит из определённого состава газов, то есть существует как часть сотворённого Богом мира. Помести в сосуд с воздухом живое существо, хоть мышку, что ли, она будет в этом сосуде жить. А выкачай из этого сосуда воздух, и в нём возникнет вакуум — мышка погибнет. Вакуум сам по себе не существует, он есть лишь отсутствие воздуха — результат насилия над Божьим творением. Вот так и Божье добро — несёт в себе жизнь, а зло — отсутствие добра — несёт в себе смерть. Зло — искусственно и не существует без своих носителей. А носителями зла являются те, кто не хочет принять в себя Божье добро и Божью любовь.

— Бесы?

— Бесы. И люди, которые, подобно бесам, отвергают Бога, Его любовь и добро.

— Так. Кажется, усвоил. А как же привычная сказка, что Адам и Ева съели яблочко, «занялись любовью» и этим согрешили?

— Так она сказка и есть. Атеистическая. Атеисты — они правды не знают, то есть не хотят знать, поэтому и вынуждены придумывать сказки. В том числе и на тему Священного Писания. Она, и сказка-то эта, с каким-то пошлым оттенком. Тогда как Адаму

с Евой чёткая была от Бога «установка»: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями], и над птицами небесными [и над всяким скотом, и над всею землею], и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Так что супружество и чадородие — дело, Богом благословлённое. Давай присядем, а то ноги разболелись, к дождю, что ли?

— Конечно, конечно. Давай присядем. Я тут, собственно, тебя по такому вопросу искал, точнее — по двум вопросам. Первый — можешь ли ты у меня, как это правильно называется, исповедь принять?

— Так и называется. Могу, конечно, хоть сейчас. А второй вопрос?

— Второй такой — можешь ли ты быть моим духовником, как у Семёна с Ниной?

— С этим несколько сложнее. Нет, то есть — могу, конечно, без проблем. Вопрос в том, а готов ли ты сам под чьё-либо духовное руководство становиться? Духовничество — это ведь серьёзная духовная работа с обеих сторон, как духовника, так и окормляемого, своего рода — договор со взаимными обязательствами. Можно ведь просто подойти к любому священнику с любым духовным вопросом, получить ответ и дальше самому решать — принимать этот ответ как руководство к действию или не принимать. И священник этот перед Богом отвечать будет лишь за то, насколько

грамотно и неравнодушно он подошёл к твоему вопросу. Иное дело — духовничество. Принимая на себя обязанности духовника какого-либо христианина, священник берёт на себя ответственность за всё дальнейшее развитие духовной жизни этого человека, за его ошибки и грехи, даже за его непослушание своему духовнику. А христианин берёт на себя обязанность святого послушания. То есть — получил совет и благословение — выполняй без метаний, — Господь за молитвы отца духовного укрепит и поможет. Как в Евангелии: взялся за плуг — не оборачивайся назад.

— А если духовник куда-нибудь не туда поведёт?

— Так ты сверяй его советы с Божьими заповедями, с учением Церкви. Увидел расхождения — можешь без колебаний оставить такого духовного руководителя и перейти к другому. Духовники нынче бывают разные, а начинающему разобраться в попах трудно. Бывает, что нарываются люди по неосторожности на таких духовников, что прямо в ад и приведут. Или в раскол какой-нибудь, вроде ИНН-ского, что, в общем-то, то же самое. Так что к вопросу духовничества нужно подходить с большой осторожностью и вниманием, а главное, с молитвой и смирением. Поэтому я никому на просьбу стать духовником сразу же согласия не даю, чтобы человек скоропалительно обязательствами не связался, а потом — разочарование. Не всегда ведь духовник своё чадо «по шёрстке гладит», часто и посми-

рять приходится, а это — мало кому по нраву. Ты не обижайся, я никого приходящего не отталкиваю, приезжай, когда надо, исповедуйся, советуйся, а уж коли почувствуешь, что есть родство душ, вот этого попа хочу в духовники, могу ему свою душу доверить, вот тогда скажешь: «Отче, прими в святое послушание».

— Разумно! Всё понял, без обид.

— Ну, тогда пойдём исповедаться!

ГЛАВА 7. ИСПОВЕДЬ

Мы зашли в церковь. Входя, я подумал: «Интересно, испытаю ли я вновь то самое вчерашнее чувство присутствия Бога, которое столь неожиданно перевернуло накануне всю мою душу?»

Остановившись в притворе, я прислушался к своему сердцу... Да! Оно пришло! То же самое, вчерашнее, ощущение — Бог здесь, рядом со мной! Это чувство сегодня пришло не так остро и не так ярко, тише, мягче, интимнее как-то. Но это было оно, и тихая радость наполнила мою душу — Бог не оставил меня, Он опять со мной, Он любит меня!

Флавиан завёл меня в уголок за иконами к «аналойчику» — высокой тумбочке с наклонной верхней крышкой, покрытой застиранным бархатным покрывальцем с вышитыми на нём крестами. На покрывальце лежала небольшая толстая книга в потёртом медном переплёте с выдавленными на нём изображениями свя-

тых. «Евангелие,» — догадался я. Справа от Евангелия лежал явно старинный, почти чёрный, с прозеленью, бронзовый литой крест. Флавиан, пока я оглядывался, надел на себя тот же фартук, состоящий из двух соединённых круглыми медными пуговками бархатных лент, расшитых крестами, и те же, широкие, с крестами манжеты, на запястьях стянутые шнурами, в которых он читал молитву бедной Катюше в день моего приезда. Заметив мой любопытный взгляд, он пояснил: «Это называется «епитрахиль» и «поручи»». Облачившись в эти «доспехи», Флавиан взял с подоконника книжку в затёртом кожаном переплёте со множеством засаленных ленточек-закладок, раскрыл её в нужном месте и, заложив пальцем, обернулся ко мне.

— Алексей! То, к чему ты сейчас приступаешь, называется Таинством Покаяния. Состоит это Таинство из трёх этапов или составных частей. Первое: кающийся должен умом понять, осознать — в чём он согрешил против Заповедей Божьих, чем оскорбил Божественную к нам Любовь. Собственно, «покаяние» с греческого и переводится как — «изменение ума». Следующий этап: умом осознав свои грехи, христианин должен «опустить их в сердце», где, собственно, и происходит само Таинство Покаяния — сжигание греховной скверны в «огне» искреннего сердечного сокрушения. Сердце должно покаяться, то есть — переболеть, оплакать свою нечистоту, умилиться всепрощающей Божьей

милости и вынести из себя твёрдое решение: вести непримиримую борьбу с врагами — греховными страстями и помыслами. Третий и завершающий этап — исповедь. «Исповедывать» — в переводе с церковно-славянского — «открыто признавать», «открывать». Осознанные умом и оплаканные сердцем грехи христианин исповедует — открыто признаёт перед Господом при свидетеле — священнике, являющемся одновременно и тайносовершителем, имеющим власть от Бога прощать и разрешать человеческие грехи. «Разрешать» — переводится как «развязывать», «освобождать». В древности, когда раба или пленника отпускали на свободу, его освобождали от оков — разрешали. Подобно тому, человек, попав в плен какой-либо страсти (или многих страстей), становится рабом навязанного этой страстью греха. Священник же, будучи уполномочен на то Церковью, силой и властью Господа Иисуса Христа освобождает кающегося грешника от этого душепагубного рабства. Впрочем, всё зависит от искренности и сердечности покаяния самого кающегося. Бывает, что после непрочувствованной, формальной, хладносердечной исповеди, несмотря на произнесённые священником слова — «прощаю и разрешаю», — Христос, невидимо стоящий перед кающимся в момент исповеди, может сказать: «А Я — не прощаю», — и отойдёт человек от исповеди не только не очистившимся, но — ещё более помрачённым. Помни, Алёша,

что с нами третьим сейчас будет Христос, и именно к Нему обращай свои мысли, слова и сердце. Начнём.

Флавиан раскрыл свою книжку, вздохнул, перекрестился широким размашистым крестом и произнёс: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков!»

Пока он читал какие-то то длинные, то короткие молитвы, я немного «отплыл» мыслями куда-то в сторону. Вновь, как ночью, передо мной встало несчастное заплаканное лицо Ирки, и сердце сжалось от внезапно нахлынувшей жалости. Ирка, Ирка! А ведь как я тебя называл когда-то — Иринушка, Иронька, Ирочек... Скотина я, сколько я тебя обижал... Прости меня, что ли...

— «Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, — звонко врезался в мои размышления торжественный голос Флавиана. — «Не усрамися, ниже убойся, и да не скрыеши что от мене: но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Се и икона Его пред нами: аз же точию свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним вся, елика речеши мне: аще ли что скрыеши от мене, сугуб грех имаши. Внемли убо: понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отидеши».

«Странно! — подумал я. — Молитва на церковнославянском, а я всё понимаю! Кроме «убо» — это слово надо будет не забыть спросить.»

— А теперь, брат Алексий, становись на коленочки, вот сюда — на коврик перед аналоем с Евангелием, и вспоминай от детства всё, в чём тебя совесть упрекнёт.

Я опустился на колени. Перед моими глазами тусклым старинным золотом поблескивал вышитый на бархатном аналойном покрывале крупный крест с какими-то копьями по бокам, окружённый со всех сторон вышитыми же буквами. Флавиан сидел слева от меня, на стареньком, поскрипывающем под его тяжестью «венском» стуле, с равномерными промежутками времени перехватывая большим и указательным пальцами левой руки узелки затёртых верёвочных чёток. Слегка повернувшись ко мне в наклоне кудлатой головы, он приготовился слушать.

— Батюшка! Отец Флавиан! Я понимаю, что я грешен, чувствую это, только не знаю, как это сказать, какими словами называются мои грехи. Ты мне помоги, пожалуйста! Я вот только одно точно понимаю, что я перед Ириной своей во многом виноват, хотя, вот опять же, не могу это сформулировать... Помоги мне!

— Хорошо, Алёша! К вашим отношениям с Ириной мы ещё вернёмся. Давай вот с чего начнём. Ты знаешь, что когда-нибудь умрёшь. Представь себе, что это произошло с тобой сейчас. Вот, ты только что вышел из тела, сбросив его, как старую одежду, и твою душу повели на мытарства.

— Сразу на мытарства? Мытарства — это такие мучения?

— Нет. Мытарства — это, буквально, — таможни, при прохождении которых ты должен уплатить пошлины за несомый тобою багаж. А багаж твой — грехи, что ты собирал всю жизнь. Представляешь?

— Представляю. Четыре года «растаможкой» на фирме занимался. Тоже нагрешил, наверное, кучу.

— Быть может. Так вот, предстоит тебе пройти двадцать таможен, на каждой из которых испытываются свои, определённые виды грехов. Откупиться можно только противоположными этим грехам добрыми делами, подвигами духовными и молитвами — своими и других людей за тебя. Много людей за тебя молится-то?

— Не знаю. Наверное, никто. Бабушка верующая была, она-то, должно быть, молилась... А больше — не знаю.

— Видишь, Алексей, как страшно, когда за тебя молитвенников нет, ведь скольких людей чужая молитва в последний миг спасала! Впрочем, и за тебя молятся — Женя с Ириной, Клавдия, которую ты с Катей подвёз, Катя та же, Семён с Ниной, мать Серафима, ну и я, грешник, тоже.

— Почему? Что я им, чтобы за меня молиться?

— Не что, а кто — брат во Христе Господе! Да ещё — страждущий, нуждающийся в сугубой помощи

и поддержке. Любовь Христова заставляет их за тебя молиться. И ты за них молись.

— Буду обязательно! Господи! Надо же, и ко мне кто-то с любовью! Спасибо тебе, Господи, благодарю Тебя!

— Так вот, Алексей, приведут тебя на первое мытарство, а это — мытарство празднословия и сквернословия, много тебе предъявить смогут?

— Много. Знаешь, я с детства — трепач. Любил «общаться», то есть — трёп. И в школе на уроках, даже выгоняли меня за это из класса частенько. Не язык — помело поганое. Сколько наболтал за всю жизнь — представить страшно! Любил и перед ребятами, и перед девчонками красным словцом пощеголять, и в институте потом, да ты сам, наверное, помнишь, меня ведь «мешок с анекдотами» звали. Шутки пустые, похабные, язвительные — всё было, и не перечесть. Прости меня, Господи!

— Скверным словом много согрешал?

— Скверным словом? Матом, что ли? Да с третьего класса, с пионерлагеря! Мальчишки у нас там все матерились, ну и я начал. Сперва как-то стыдно было, даже краснел поначалу, потом привыклось, и к концу заезда выдавал — будь здоров! Думал ведь, дурачок, что я от этого повзрослел! Господи! Прости за дурость! А уж потом матерился, почти не задумываясь, даже художественно, с «наворотами», на публику. Да и в по-

следнее время, если ты матом да по-блатному, да с наркоманским слэнгом не говоришь, так вроде ты и не полноценный какой-то. Сейчас и ведущие по телевизору такое отпускают! Матершина сейчас — это норма речи! Не раз слышал, как родители с детьми, беззлобно так, матерком переговариваются...

— И ты — как все?

— Как все! Прости, Господи! Каюсь! Сколько ж я наговорил?!

— Бог простит, Лёша, Он видит, что ты раскаиваешься в этих грехах и радуется этому.

— Правда, раскаиваюсь! Честно! Я вот пообщался тут с Семёном, Ниной, со всеми вами, ведь и мысли не было трёп разводить или, не дай Бог, выругаться. Я только сейчас понимаю, какое же это уродство — современный опохабленный язык, на котором я до сих пор изъяснялся.

— Ко второму мытарству подошли, Алексей, — мытарство лжи и клятвопреступления. Грешен в этом?

— Грешен, конечно, ещё как грешен! Вся наша жизнь сейчас — ложь и клятвопреступление.

— Твоя жизнь, Лёша, говори только про себя!

— Прости, понял! Моя жизнь, именно моя жизнь — вся лжива! В детстве врал родителям, врал даже любимой бабушке, врал по поводу и без повода, врал от страха наказания, врал, желая что-нибудь выпросить, врал друзьям на улице, что у меня папа — командир

подводной лодки, что у меня есть настоящий пистолет, о чём только не врал! Потом в школе врал учителям, опять родителям, друзьям, иногда сам путался, где фантазии, а где правда. Врал в институте, косил от колхоза, брал липовые медицинские справки, даже с гипсом один раз пришёл к военруку, чтобы вместо сборов с друзьями в поход пойти. Девчонкам врал, за которыми ухаживал, которых добивался, врал, что люблю, врал, что женюсь, врал, врал, врал... У меня из-за этого и с Женькой тогда не вышло: разок на вранье прокололся, а она вранья на дух не переносила, она мне — от ворот поворот! Молодец Женька, правильно она не меня, а Генку своего выбрала. Всё моё враньё Ирке бедной досталось, уж тут я разгулялся! Господи! Прости меня мерзкого, вся моя семейная жизнь была сплошным враньём — как же я бедную Ирку обманывал! Изменял ей, деньги от неё кроил, подводил её постоянно... Она всё терпела, прощала... А я жил в своё удовольствие, грёб всё под себя, себя ублажал, даже отпуска всегда брал отдельно, чтобы «оторваться». Наотрывался... Господи, если можно, прости меня! А в теперешней жизни — опять сплошная ложь! Лгу, чтобы удержаться на работе, обещания даю заведомо невыполнимые, лгу знакомым, что у меня всё «о'кей!», лгу самому себе, что мне такая жизнь нравится и что я вообще крутой... Господи! Я устал от вранья, прости меня, помоги мне жить по-другому, я не хочу больше врать...

— Бог простит тебя, Алексей, полюби жить в правде, в правде — Христос! А отец лжи — сатана, не служи больше ему.

— Помоги мне, отец Флавиан, мне самому эту гору не осилить!

— Бог поможет, Лёша, идём дальше — мытарство осуждения и клеветы. Грешен?

— Осуждения? Что значит — «осуждение»?

— Осуждение-то? А ты вспомни, что ты говоришь, находясь за рулём, по адресу «подрезавшего» тебя водителя, нагрубившего тебе начальника, валяющегося на пороге подъезда пьяного, что ты мысленно произносишь в адрес многих современных политиков, когда смотришь какие-нибудь «парламентские новости», — вот это как раз и есть осуждение.

— Так ведь я же справедливо так говорю или думаю, ведь они же и вправду продажные хамелеоны, я про политиков, или за рулём — ну если он «козёл» и чужими жизнями рискует, так я и говорю — «козёл» или «баран»! Что ж я неправду, что ли, говорю?

— Правду. Но — свою, человеческую, такую, как ты её видишь и понимаешь. Но поскольку видим-то мы далеко не всё, а понимаем и ещё меньше, то Господь и предупреждает нас не лезть осуждать, размахивая этой своей правдой, чтобы самим не вляпаться ещё сильнее (а так обычно и бывает). Наша «правда» основана на неполной информации и потому не может быть

настоящей правдой. Тогда как Бог видит и действия (или слова) человека, но, в отличие от нас, видит и мысли, и внутренние побуждения совершившего эти действия или сказавшего эти слова. Поэтому Его суд объективен и справедлив, а наш — всегда несовершенен. Господь, заповедуя нам не судить никого, как раз и предупреждает нас об опасности стать судьями необъективными, неправедными и тем навлечь на себя праведный суд Божий. Понял?

— Не совсем...

— Ну смотри, например: идём мы с тобой по улице и видим нищего. Ты от души пожалел его, собрал по карманам всё, что у тебя было, скажем, — десять рублей, и отдал ему. Я, увидев это, позавидовал твоей щедрости и, решив показаться ещё щедрее, дал нищему сто рублей. А мимо шла, например, мать Серафима. Увидела она всё происходящее и подумала: «Какой же жмот этот Алексей — всего десятку дал, не то что отец Флавиан — вон какой добрый — целую сотню отвалил!» А Господь смотрит на всё это сверху и «начисляет»: Алексею за искреннюю доброту — награду; Флавиану за зависть и тщеславие — осуждение; и Серафиме тоже — осуждение, чтоб не судила по внешнему и не брала на себя полномочия Бога.

— Теперь — понял. Ну тогда я уже точно осуждён! Считай, каждый день моей жизни — сплошное осуждение! Ведь страшно-то как! Я и в детстве даже роди-

телей осуждал, особенно когда они ругались или отец пьяный приходил. Да, отца ведь я и до самой его смерти осуждал: и за то, что он нас с матерью бросил, и за то, что не помогал, и за всю его разгульную жизнь! И маму осуждал за ремень, которым она меня от лени и вранья отучала, и за то, что по бедности на кино и мороженое денег редко давала, за то, что «не понимала» дурака сопливого, начавшего курить в восьмом классе и выпивать в девятом, за всё, в чём она моим желаниям не потакала. А ведь она добрая была и «трудяга», на трёх работах тянула, чтобы мне — дураку — образование дать, и умерла рано, потому что надорвалась на этих работах! Господи, если можешь, прости меня за это! Прости за маму и за отца!

— Бог простит, Алексей!

— Слушай, отец Флавиан! Как мне теперь вспомнить всех, кого я осудил, им же нет числа, как в этом покаяться? Я осуждал всех, кто чем-нибудь мне не нравился, всех, кому завидовал, всех, кто был лучше меня, умнее меня или — наоборот — глупее. Я осуждал всех, я, наверное, даже Бога осуждал за то, что Он сделал мир не таким, как бы мне хотелось... Господи! Прости мне этот грех, Ты Сам, Господи, не осуди меня!

— Бог простит, Алексей! Не клеветал ли на кого?

— Конечно, клеветал, Господи, прости! Ещё как клеветал! Учителям клеветал на родителей, чтоб за невыученные уроки не ругали, родителям на учителей,

что те придираются. Клеветал ребятам на девчонок, что те «не девочки», клеветал на завуча, что он с физруком в учительской пьянствует после занятий, клеветал в институте на старосту, что она «стучит» в деканат, на бригадира в колхозе, что нашу выработку себе приписывает, клеветал на работе, клеветал на жену, клеветал, клеветал, клеветал... Какая же я гадость! Господи, прости меня!

— Бог простит, Лёша! Следующее мытарство — чревоугодия...

— Чрево... что? Прости, отец Флавиан, не понял.

— Чревоугодие — угождение чреву, то есть — брюху. Оно бывает в двух формах: гортанобесие — это когда гоняются за вкусовыми ощущениями, и чревобесие — набивание брюха, погоня за насыщением до осоловелости. Сюда же пьянство относится и наркомания.

— Грешен! В обеих формах! Наркотой, правда, никогда не баловался, с пьянством тоже проблема: чуть выпью — тошнить начинает, потому не напиваюсь, хотя стопочку дорогого коньячку сосать буду с удовольствием, а вот с едой! Слаб поесть, люблю в ресторан зайти, разные кухни пробовать, люблю и вкусно, и много. Ирка-то у меня хорошо готовила, но я всё равно по гостям наедаться любил. Иной раз так объешься, что аж пьянеешь от еды! Как свинья, честное слово, кажется, за жратву родную мать продал бы, вон

вчера у Семёна так объелся, чуть не помер... Скотство, конечно... Господи, прости меня!

— Бог простит, Алексей! Мытарство лени и праздности. Грешен?

— Грешен, батюшка, как ещё грешен! С детства грешен и до сих пор. Уроки всегда делал из-под палки, работу свою на кого-нибудь спихнуть — героизмом считал, только перестройка эта заставила шевелиться, а то с голоду помрёшь... Так и сейчас, где можно вместо работы видимость создать, чтоб начальству втереть, — никогда не упущу! Ирка меня сколько этой ленью шпыняла, а мне — как с гуся вода! С работы пришёл, живот набил и на «родной» диван у телевизора «смену отрабатывать». Отдыхать, развлекаться — заставлять никогда не надо было, куда и лень девалась, в компании, как это сейчас называется, «потусоваться», перед слабым полом хвост распустить — это всегда готов! А даже в сервис заехать — в моторе масло поменять — муторно, не прикалывает — вечно тянул. Лентяй по жизни — вот я кто, отец Флавиан! Каюсь в этом! Господи, прости меня, грешного!

— Бог простит, Лёша! Мытарство воровства. Воровством грешен?

— Да вроде, нет... Хотя подожди... Было, было! В школе как-то раз с Юркой в раздевалке по карманам мелочи натаскали, у тётки на даче яблоки воровал, к соседям в малинник лазил. В кружке радиотехническом

проволоки медной моток стырил, у матери несколько раз из кошелька деньги брал, две книжки библиотечные зажал. Вот, наверное, и всё.

— А списывать приходилось?

— Да разве ж это воровство?

— А как же! Чужой труд за свой выдавал, незаработанные оценки получал.

— Так это я тогда и почти всю зарплату в советское время незаработанную получал, так ведь и не я один! Почти все так!

— Подожди, Алексей, мы с твоими грехами разбираемся, а не со «всехними», ты говори только про себя.

— Прости. Так выходит, что я в этом воровстве просто погряз! Незаработанные оценки, незаработанная зарплата, безбилетный проезд в транспорте, «жучок» в счётчике, разговоры с работы по межгороду с родственниками, словом, вся моя халява — воровство! А ведь я никогда не считал себя вором! Господи! Прости меня, грешника!

— Бог простит, Алексей! Мытарство сребролюбия и скупости...

— Грешен, отец Флавиан! И этим грешен! Как возможность зарабатывать и хорошие вещи покупать возникла, меня как прорвало — жаден стал до денег и до барахла. В общем-то, в долг людям давал, но только тем, кто отдаст, с этим я не прокалывался. Ирке хоро-

шие вещи покупал, но не баловал, так только, чтоб в людях жена не хуже других выглядела. А вот себя, любимого, ублажал... Одевался с иголочки, часики вот — половину «Жигулей» стоят, коньячок только марочный, выдержанный, не дешевле сотки баксов за бутылку, кроссовочки, футболочки — только в фирменных магазинах, никаких рынков! Брать от жизни, по возможности, конечно, лучшее — вот таков был мой девиз, пока Бог с этим джипом не наказал... Три недели я в нём рассекал, ощущал себя причастным к уже не простым людям, любовался этим джипом, как женщиной... пока не спёрли. Наверное, слава Богу! А то ведь и совсем закрутеть мог, вконец ожлобеть... Господи! Прости меня, грешного!

— Бог простит, Алексей! Мытарство ростовщичества. Под проценты кому-нибудь одалживал?

— Вот этого не делал. Хотя почему — не знаю. Не было случая, наверное.

— Хорошо! Далее мытарство взяточничества и подкупа. Этим грешен?

— Так как же сейчас без этого!? Это ведь сейчас уже и не грех, а норма экономических отношений! Господи! Да кому ж я этих взяток только не давал!? Начиная с гаишников, СЭС-овщиков, пожарников, торговой инспекции, кончая уборщицей в подъезде, — чтоб мою лестничную клетку чаще убирала... А та же «растаможка»? Я же ей четыре года занимался! Ты знаешь,

как у нас грузы растаможивают? В этом грехе я по уши сижу, и никакого просвета не видно! Каюсь, конечно, каюсь! Прости меня, Господи!

— Бог простит, Алексей! Мытарство зависти. Грешен?

— Ещё как! Я, кажется, и сейчас вот тебе завидую и Нине с Семёном, и матери Серафиме твоей... Вы вон какие богатые, оказывается, какие счастливые, сколько любви у вас, жизнь какая интереснейшая... И это пока я своей «крысиной вознёй» вокруг денег да барахла всю жизнь занимался... Вот видишь? Опять завидую! А уж раньше-то! Господи, стыдно даже вспоминать! Но раз начал... Завидовал родителям, что они «большие и им всё можно», завидовал двоюродному брату, что он выше ростом и сильнее, завидовал тем, у кого есть велосипед, завидовал Руслану, что с ним дружит Светка, завидовал тем, кого возят на каникулах на море, завидовал тем, у кого мама и папа не развелись, завидовал тем, кто дерзкий и кого все боятся, завидовал Серёжке, что он после восьмого класса ушёл в ПТУ, получает стипендию и открыто курит, завидовал Арсену, что он волосатый и нравится старшеклассницам, завидовал тем, у кого «настоящие» джинсы, завидовал тем, у кого «абалаковский» рюкзак, тебе завидовал, что ты на втором курсе уже ходил на Эльбрус, завидовал Генке, что Женька выбрала его, а не меня, завидовал Игорю, что он распределился к отцу и поедет в загранку, завидовал тем, кто не женат и свободно «гуляет», завидовал тем, у кого есть

дети, завидовал соседу слева, который первым в нашем дворе купил иномарку, завидовал тем, у кого больше денег, завидовал, завидовал, завидовал... Теперь вот опять завидую тебе... Господи, прости меня! Научи, как никому не завидовать! Прости меня, Господи!

— Бог простит, Лёша! Мытарство гордости. В чём совесть упрекает?

— Ни в чём! Гордым я никогда не был, этим-то я уж точно не грешен!

— Грешен, Лёша, ещё как грешен!

— Почему?

— Да потому, что гордость — мать всем тобою перечисленным грехам и ещё не перечисленным!

— Это как? Объясни, батюшка! Что такое вообще — гордость?

— Объясняю. Сегодня гордость выражается словами — «я крутой!», причём «Я» — с большой буквы. Гордость — это ощущение себя как нечто лучшее других, причём если не всех вообще, то уж точно многих. Гордость многолика. Она маскируется и под «чувство собственного достоинства», и под «элементарное самоуважение», «нежелание поступаться своими принципами» или под «долг чести» (впрочем, последний сейчас не популярен). Гордость самая сильная из всех страстей, а слово «страсть» означает «непреодолимое желание», то есть желание, с которым человек сам, без помощи Божьей, не может справляться. В случае с гордостью, эта

страсть выражается в желании постоянного самоутверждения. Причём в отличие от тщеславия, которое обязательно ищет публику и жаждет рукоплесканий, гордость — самодостаточна. Тщеславному человеку необходимо, чтобы другие люди видели и признавали, что он — крутой, а гордому достаточно самому осознавать свою крутость. Вот тебе простенький тест на гордость: посмотри, сколько раз в разговоре с другим человеком ты произносишь слова «я знаю». Заметь, произносятся они не в качестве ответа на вопрос «знаешь ли?», а просто как ненужная вставка в речь собеседника, подтверждающая твою компетентность в обсуждаемом вопросе.

— Да я всё время так говорю!

— Ну вот! Видишь? А ведь подтекстом этих слов — «я знаю» — является — «я тоже в этом понимаю не хуже тебя, а может быть, ещё и получше... Я САМ — КРУТОЙ!» Именно гордость не позволяет тебе признать, что в чём-то ты можешь быть хуже (или хотя бы — хуже разбираться), чем другой.

— Слушай, отец Флавиан, а ведь — точно! Примерно так я и ощущаю, когда говорю эти слова, именно так!

— Заметь, в основе гордостного самоощущения всегда лежит это — Я САМ! А знаешь, кто первый произнёс эти слова?

— Не знаю... Ленин, что ли?

— Гораздо раньше, как раз тот, которому Ленин исправно служил, — сатана! Именно он, будучи пер-

вым по приближённости к Богу из ангелов, не вместив осенявшей его Божественной славы, счёл себя самого этой славы достойным и произнёс погубившие его слова: «Я САМ — бог!»

— Как же это могло случиться, он что, забыл, что это Бог его сотворил, а не наоборот?

— Знаешь, Алексей, мне несколько раз приходилось видеть, как приближённые к какому-нибудь важному лицу (даже на областном уровне) секретари какие-нибудь или референты, пребывая в «славе» своего босса, ощущают себя едва ли не круче хозяина (и ведут себя с людьми соответственно). Так что, наблюдая подобное в людях, нетрудно представить — как это происходило с ангелами. Ты ведь и сам, наверное, видал подобные «картинки»?

— Видал, ох, видал, отец Флавиан! Особенно у ... не буду называть, референт по международным связям — силён! Такое ощущение, что своего босса он рядом с собой героически терпит, и то — по каким-то необъяснимым гуманным причинам!

— Вот, вот, на этом сатана и погорел. Ощутив себя «самодостаточным», он предложил и другим ангелам «поменять хозяина», мотивируя тем, что если они останутся с Богом, то будут исполнителями воли Его (собственно, слово «ангел» переводится как «вестник», «посланник» или «служитель»). Тогда как пойдя за Денницей (таково было первое имя сатаны, до падения), они

получат власть ТВОРИТЬ ВОЛЮ СВОЮ, то есть каждый станет САМ этаким «маленьким богом». Как известно, часть ангелов злоупотребила данной им от Бога свободной волей, и, возжелав «обожествления», превратилась в скопище бесов. Так вот, каждый человек, допускающий в своё сердце гордый бесовский лозунг «Я САМ!», этим же бесам и уподобляется, разрывая свою связь с источником истинной Славы — Богом. Как учат Святые Отцы Церкви, человек, совершивший любой грех, то есть сознательно нарушивший Закон Божий и Его заповеди, прежде совершения этого греха сперва возгордился, сказав в себе: «Я САМ устанавливаю для себя закон и заповеди, и никакие другие мне — не указ!» То есть, только предварительно впав в грех гордости, можно совершить любой другой грех. А ещё очень легко определяется наличие гордости в душе человека по его отношению к критике со стороны окружающих. Гордость не выдерживает и малейших упрёков или укоризны и сразу производит в душе возмущение и недовольство, вплоть до раздражения, гнева и ярости.

— Это всё про меня, отец Флавиан! Теперь понимаю, какую змеюку я вырастил в своём сердце. Господи! Прости меня! Я грешен абсолютной нетерпимостью к критике и упрёкам, особенно от бывшей жены. Если с чужими людьми, особенно с начальством на работе, приходится сдерживаться, то с бедной Ириной я часто опускался до уровня базарной бабы — на каждое слово

упрёка отвечал десятком слов ругани и оскорблений. Что она, бедная, от меня выслушала за все годы совместной жизни! Да я и с детства не терпел обличений, перед родителями оправдывался, спорил, врал, чтобы выгородить себя и удовлетворить своё самолюбие. В школе и в институте выкручивался, чтобы не выглядеть в чем-либо хуже сверстников, унижал для этого других, осмеивал, дразнил, чтобы на их фоне выглядеть лучше. Тьфу! Противно вспоминать! А уж выпендривался и в одежде, и в манере разговора — этакой слегка свысока, даже в походке, якобы спортивной.... Всё самоутверждался... А сейчас это самоутверждение стало уже характером, частью личности, имиджем. Чтобы выжить в современной московской жизни, гордыню свою надо не просто любить — культивировать, питать, накачивать! Надо быть крутым, и ещё чтобы все это видели, понимали, что ты достоин своего «места под солнцем» и не дерзали его занять. И я, дурак, именно так и старался: «крутеть, крутеть и крутеть» — как завещал сатана рогатый! Господи! Прости меня, покажи мне — как жить без всего этого! Помоги мне исправить свою душу, стать таким, каким Ты хочешь меня видеть!

— Бог простит, Лёшенька, Бог поможет тебе! Мытарство гнева — чем грешен?

— Гневом и грешен, батюшка. Много грешен. Нетерпелив с детства, раздражителен. Когда что-нибудь не получается всегда раздражался, гневался, швырял

что-нибудь или пинал в ярости. Ирину свою несколько раз ударял в гневе или толкал, за ворот платья таскал, даже порвал ей джемпер как-то раз... На подчинённых срывался, скверным словом мог обругать, унизить, причём иногда и не по делу. За рулём дёргался, проклинал других водителей, в пробках бесился, особенно когда опаздывал куда-нибудь... Это, видно, гордость моя ущемлённая прёт наружу, так, батюшка?

— Так, Алексей, именно она.

— Господи, прости мне гнев мой и всё, что я в гневе натворил, прости меня!

— Бог простит, Алексей! Пошли дальше — мытарство злопамятства. Грешен?

— Грешен, наверное... Да, точно грешен! Славке, другу детства, до сих пор помню, как он меня перед мальчишками с соседнего двора предал и убежал, а они меня побили. Родителям их обиды вспоминал много лет. По физике преподавателя за вредность и въедливость долго осуждал... Ирине часто припоминал, как она без меня в поход на байдарках ушла, ревновал я её тогда сильно... Может, и ещё где согрешил злопамятством — не припомню сейчас. Прости меня, Господи!

— Бог простит, Алексей. Теперь соберись — мытарство убийства.

— Отец Флавиан, я же не убивал никого, только мух с комарами, даже кошку у пацанов отнял, когда они её вешать хотели!

— Кошку отнял, а пятерых пацанов или, может быть, девчонок убил!

— Ты о чём, Андр… отец Флавиан? Каких пацанов? Каких девчонок?

— Своих собственных. Родных детей. Своим согласием на аборты соучаствовал в вынесении им смертного приговора. Невинным младенцам. А палачом уже врач поработал.

— Господи! Неужели же это так? Разве ж это убийство? Да они же ещё не родились!

— Потому и не родились, что их ещё во утробе матери убили. Есть фильм такой, документальный, «Безмолвный крик» называется. Тебе его надо посмотреть. Сам убедишься, когда увидишь, как младенчик в утробе матери от железяки уклониться пытается, ротик открывает — на помощь зовёт. И как его потом эта железяка на части разрывает и из материнской утробы выскребает. Кстати, даже звери такого со своими детёнышами не делают, только человек…

Я сел на пол. Колени перестали держать меня. В ушах сильно стучало. Я вдруг увидел его. Того младенчика. Нет, не представил себе, а именно увидел. Без всякого фильма. Он был очень маленький, со сморщенным плачущим личиком. Мальчик. Его убивали. Это был мой сын.

ГЛАВА 8. ИСПОВЕДЬ: ПРОДОЛЖЕНИЕ

На вот, Лёша! Водички вот выпей! Крещенская. Сейчас полегчает.

Очнувшись, я обнаружил себя сидящим на полу, прислонившимся к какому-то сундуку, покрытому старым байковым одеяльцем. Ворот был расстёгнут, лицо и грудь мокрые.

— Что со мной было, отец Флавиан? Я был в обмороке?

— Отключился немного, нервы не выдержали, первая исповедь — серьёзное испытание. Можем прерваться.

— Нет, нет, нет! Всё, вспомнил! Продолжим, батюшка. Я грешен в убийстве пятерых собственных детей. Прощения даже не прошу, понимаю, что это — не прощается. Что мне теперь делать, отец Флавиан, научи, я безнадёжно погиб?

— Не бывает грехов непрощаемых, Лёша, бывают нераскаянные, то есть те, которых человек не осознаёт

и в которых ие кается. Твой же грех детоубийства Бог простит, видя твоё раскаяние, ио «епитимийку» ты от меня получишь.

— Епи... что?

— Епитимия, Лёша, — это способ подтвердить Богу своё раскаяиие, возможиость как бы компеисировать свой грех, отработать свой долг перед Богом. Епитимии разиые бывают — поклоиы, молитвы, дела какие-ибудь искупительные. Назначаются оии в зависимости от греха и раскаяния, ну и сопутствующих обстоятельств, как — возраст кающегося, здоровье и т. д.

— Могу я твоей епитимиёй у Бога прощеиие вымолить?

— Бог милосерд, Лёша, епитимия тебе иужиа, а Богу — твоё очищеииое от грехов сердце.

— Давай, батюшка, изиачь мне, пожалуйста, епитимию, я буду стараться всё выполиить.

— Старайся, Алексей. Вот тебе такая епитимия: в течеиие сорока дней, иачииая от сегодияшиего, каждый деиь будешь класть по пяти земиых поклонов, по числу детей убиеииых. Делать это будешь так: выбирай время и место, закройся, чтоб тебе иикто ие мешал. Поставишь перед собой икоиу Спасителя, Господа иашего Иисуса Христа и встаиешь перед этой икоиой. Осеияешь себя крестным зиамеиием и произносишь: «Господи! Прости мне убийство моих детей!» После чего стаиовишься перед икоиой

на колени и касаешься руками и головой пола впереди себя, то есть совершаешь полный земной поклон. И так пять раз подряд, в течение сорока дней. Когда последний поклончик положишь, знай — от этого греха очищен, молитовку-то я тебе сегодня прочитаю разрешительную...

— Отец Флавиан! Да что ж ты мне такую лёгкую-то епитимию назначил? Разве же она адекватна такому греху?

— А ты тяжёлой-то епитимии и не понесёшь, эту выполни. Господь, по милости Своей и за малый твой труд покаянный, способен тебя от великого греха очистить. А уж об адекватности — что говорить! Если бы Бог с нами поступал адекватно нашим грехам — всем бы в огне гореть неугасимом! Пойдём дальше. Мытарство чародейства и ворожбы.

— Чего мытарство, батюшка? Прости, я не понял.

— Чародейством, Алексей, Церковь называет любые сверхъестественные действия человека, совершаемые с помощью привлечения нечистых духов и их демонической энергии, иначе говоря — колдовство. Ворожба — это гадания, попытка с помощью бесов получить информацию о прошлом или будущем. Соответственно к чародейству и ворожбе относятся все виды оккультизма, магии, кабалистика, спиритизм, экстрасенсорика, парапсихология, рэйки, цигуны и прочая бесовщина.

— Так, понял. В этом тоже грешен. В восьмом классе пытались «крутить тарелочку», правда, ничего не получилось, слава Богу! Кашпировского несколько раз смотрел по телевизору, хотя, кроме раздражения на него, у меня никакой реакции не было. Когда джип угнали, к «ясновидящей» ходил по объявлению в газете «Из рук в руки», она мне сказала, что мой джип где-то на Кавказе. Да это и без гадалки понятно — почти все угнанные джипы по Кавказу катаются. А так вроде больше и не было у меня с колдунами контактов... Господи! Прости меня, грешного!

— Бог простит, Лёша, держись — мытарство блуда, а за ним мытарства прелюбодеяния и противоестественного разврата.

— Отец Флавиан, а что такое блуд и прелюбодеяние, и чем они друг от друга отличаются?

— Блудом или любодеянием, Алексей, называется греховная половая связь мужчины и женщины, не соединённых узами брака ни между собой, ни с кем-либо другим. Прелюбодеянием называется такая же связь, но если кто-либо из любовников состоит в браке, тем более венчанном, церковном. Тогда грех усугубляется осквернением чужого брака и судится, соответственно, строже. Приставка «пре» и обозначает усугубление — превосходную степень. Ну, например, как «красный» — «красивый», «прекрасный» — «очень красивый». Понял?

— Понял. А противоестественный разврат — это гомосексуализм?

— Не только. Это и самоудовлетворение — рукоблудие, и гомосексуализм — мужеложество, и лесбиянство, это и скотоложество, и прочие неестественные способы удовлетворения блудной страсти. А также к блудным грехам относятся: смотрение порнофильмов, чтение и рассматривание развратных журналов, газет и прочей растлевающей душу литературы, смотрение с вожделением на лиц другого пола, мысленный блуд, то есть блудные мечты и фантазии, и даже нескромные разговоры и анекдоты на темы блуда.

— Понял. Господи, помилуй! Вот уж в чём перемазан так перемазан! Господи, прости, каюсь; с детства эта блудная страсть во мне нашла гнездо, стыдно вспомнить, чем мы занимались в старших классах в пионерлагере, сколько ребят и девчонок потеряли там целомудрие, и это казалось нам — быть взрослыми! И я — в первых рядах! А в институтские годы это в нашей компании было как спорт — кто с большим количеством «тёлок» переспит, представляешь, — «тёлок» — вроде как и за людей-то мы этих подруг не считали, так, станок для удовлетворения похоти. Разговоры, так называемые «мужские», — всё о блуде, анекдоты похабные, шутки с блудным подтекстом, девушек и женщин как товар на витрине разглядывали, обсуждали «достоинства». Походы на природу с буты-

лочкой у костра и парочками по палаткам... А видаки когда появились, так мы целыми ночами, бывало, порнуху западную смотрели, книжки типа «Камасутры» до дыр зачитывали, «Playboy» как святыню берегли, из рук в руки передавали. Каждый старался крутым мужиком выглядеть, секс-гигантом. И я, дурак, в числе первых... Скотство какое-то, сейчас это понимаю, а тогда думал, что так и надо, девиз был: «Со всеми женщинами переспать невозможно, но стремиться к этому — необходимо!» Так и после института продолжал... Ирине уже через год после свадьбы в первый раз изменил, с лаборанткой из соседнего отдела... И хоть совесть и кололась иногда, давил её — все так живут! В отпусках на Юге что вытворял! Как кобель с цепи сорвавшийся, ни одного дня без блуда не пропускал — тьфу, как мерзко это всё вспоминать, стыдно, гадко, тошнотворно! Как же я раньше этого не ощущал, неужели настолько мозги помрачённые были?

— И мозги, Лёша, и сердце, и душа. Блудная страсть из человека быстро животное делает, неспособное видеть себя со стороны, оценивать и искать исправления.

— Да и после развода с Ириной блудил, с одной замужней почти полгода «встречался» (муж у неё из командировок не вылезал — семью старался обеспечить) — это и есть прелюбодеяние, да?

— Да, Алексей, это — прелюбодеяние.

— Услугами «профессионалок» несколько раз пользовался, вызывал по телефону из газетных объявлений, чудом, видно, никакую заразу не подхватил... Вот такая я скотина похотливая, батюшка, есть ли мне прощение?

— Бог простит тебя, Алексей, не греши этим больше, не оскорбляй скверной блуда живущий в тебе образ Божий. Сказано в Евангелии Апостолом Павлом: «Не знаете ли, что тела ваши есть храм живущего в вас Святаго Духа...?» А в другом месте Писания сказано: «Если кто растлит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы». Следующее мытарство — неверия и ересей.

— Неверием грешен, конечно, а что такое ереси?

— Ереси, Алексей, это искажённые учения о Боге, о Христе, о учении Церкви, хула на святое...

— Понял. Знаешь, отец Флавиан, кроме как похабные анекдоты про попов, вроде больше ничего и не вспомню... Господи, прости меня!

— Бог простит, Алексей. Последнее мытарство — бессердечия и жестокости. В чём можешь покаяться?

— Не знаю... Вроде, я не жестокий и не бессердечный, кажется...

— Ты думаешь так? А вспомни вчера, у храма на улице мы про Ирину говорили, и ты сказал, что денег дал ей на операцию, а больше ничего не должен. Это были слова от доброго сердца?

— Нет. Не от доброго. Даже, наверное, от злого... Прости меня, Господи! Слушай, батюшка, а ведь я и вправду с Иркой поступал жестоко, и много раз, её личные проблемы, болезни, заботы для меня как бы и не существовали. Я от них отгораживался, чтобы мой комфорт не нарушали, раздражался, когда она обращалась ко мне с какими-нибудь бытовыми просьбами, особенно если я в тот момент лежал перед телевизором, делал ей резкие замечания о её внешности, дразнил, когда она от волнения начинала слегка заикаться... Собственно, как сволочь стервозная я вёл себя с Ирой, плакала она от меня не раз... Господи, прости мне злобность мою! Да! Вот с Витькой ещё злорадствовал, когда он по работе прокололся и его с треском выгоняли, мог походатайствовать тогда, ко мне бы прислушались, а я, как злая баба, — «сам «залетел», сам и расхлёбывай!» Может, когда и ещё что было — не вспомню сейчас... Господи, прости меня! Отец Флавиан, и ты прости меня, сколько я на тебя гадости сейчас вылил, противно небось и смотреть на меня!

— Я радуюсь, Лёша! Радуюсь, что смог ты себя побороть и всю эту гадость сейчас из себя вывалить. Радуюсь, потому что вижу, что каешься ты искренне, с болью, от души. Радуюсь, потому что верю — принял Господь твоё покаяние, очистит тебя и даст тебе силы для новой жизни, с Богом, с Церковью. А за меня не беспокойся, после первых же двух-трёх лет

духовнической практики, священника смутить какой-либо исповедью крайне сложно — столько всего выслушивать приходится. Да потом, как и осуждать-то кого, если, слушая чужие грехи, их как в зеркале, в своей душе обнаруживаешь, только и остаётся что прошептать: «И меня за это прости, Господи!»

Флавиан глубоко вздохнул, тяжело поднялся со стула, опираясь на аналой и, переступив с одной затекшей ноги на другую, накрыл мою голову епитрахилью:

— «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Алексий, вся согрешения твоя от юности твоея, и аз недостойный иеромонах; властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих от юности твоея, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь!»

Я заплакал.

ГЛАВА 9. ВСЕНОЩНАЯ

Встав с колен, я ощутил абсолютно новое, незнакомое или, может быть, даже наоборот, — давно забытое чувство поразительной лёгкости. Словно у меня с плеч сняли тяжёлый, давно носимый и потому привычно терпимый мешок с цементом. И внезапное исчезновение этой давящей тяжести сделало вдруг очевидным то, что она — была и то, что без неё — хорошо! Мне было хорошо, так хорошо, как в детстве, когда после особенно занудного последнего урока звенит звонок и ты радостно срываешься с места, размахивая расстегнувшимся портфелем с рассыпающимися учебниками, и, не замечая их стремительного разлетания по коридору, прорываешься сквозь орущую толпу таких же освобождённых из школьного заключения мальчишек и девчонок, застревающих в узком школьном тамбуре с тяжёлыми дореволюционными дверями, и — на улицу, скакать оголтело по нагретому дневным солнцем асфальту, хохотать без удержу и без причины,

колотить опустевшим портфелем всех носящихся вокруг и толкающихся одноклассников и кричать нечленораздельно: «Ура, свободен! Свободен!» Я не мог предположить, что испытаю это чувство освобождения от своей предыдущей жизни так сильно, так ярко, так физически ощутимо! Наверное, вид у меня был несколько невменяемо-растерянный, потому что Флавиан, счастливо улыбаясь, потрепал меня за плечо: «Алло, Лёша! Крестись и прикладывайся — сперва к Евангелию, потом ко Кресту. Так... теперь ладошки складывай под благословение, правую сверху... Ну пойдём, успеем ещё перекусить до всенощной, там уже народ, поди, подъехал, время-то ближе к четырём...»

— К четырём? Сколько же времени я исповедовался?

— Ну, часиков так около трёх или чуть побольше...

— Что? Я три часа провёл на коленях? И они у меня совершенно не болят?! Чудеса!

— Вся наша жизнь — чудо, Алёша! Открой глаза и смотри, столько ты всего увидишь!

— Уже открываю и уже вижу, Господи, как же всё хорошо!

— Хорошо, Лёша...

Разговаривая, мы вышли из церкви. Неожиданная картина заставила меня остановиться. Всюду: на площадке перед папертью, на лавочках, на траве вдоль за-

бора, даже на церковных ступеньках — сидели и стояли вполголоса переговаривающиеся, что-то читающие и крестящиеся или просто отдыхающие люди. Между ними весело бегали, но как бы аккуратненько, без баловства, разновозрастные дети. Мать Серафима, очевидно закрывавшая собою вход, обернулась на скрип двери.

— Батюшка! Всё? Лёшенька! Поздравляю вас со святым Покаянием!

— Спаси вас Господь, мать Серафима!

— Батюшка вышел! — люди зашевелились и начали окружать спускающегося по истёртым каменным ступенькам Флавиана.

— Благослови, отче! Батюшка, благословите! С праздником, батюшка! Как ваше здоровье? Батюшка, вам поклон от отца Симеона и Юры с Галиной! Батюшка, вот Петеньке глазик перекрестите! Батюшка, а после всенощной исповедовать будете? Батюшка, батюшка...

Я стоял на ступенях паперти, оттеснённый от Флавиана радостно окружившими его прихожанами, воркующими подобно стайке голубей, всегда окружающих бабу Мусю — горбатенькую пенсионерку из соседнего подъезда, ежедневно выходящую на край газона с размоченными в воде хлебными корочками кормить своих «гули-гулей». Продолжая наслаждаться не оставляющим меня чувством окрыляющей лёгкости, я с любопытством наблюдал эту умилительную картину.

«А ведь и впрямь, похоже, — подумал я, — ведь Флавиан, как баба Муся, тоже даёт им пищу — пищу духовную, и они, подобно проголодавшимся птицам, слетаются к тому, из чьих рук эта пища сыплется на них изобильно!

— Всё! Братия и сестры, — добродушно пророкотал Флавиан, — храм открыт, идите зажигать лампадки, пишите записки, ставьте свечи! Мать Серафима, помоги Анне «за ящиком»! Пойдем, Алексей, успеем чего-нибудь покушать.

В домике-сторожке столом распоряжалась Катина Клавдия Ивановна. Несмотря на внушительный объём своего пышного тела, она шустро и ловко сновала в ограниченном пространстве маленького домика между «трапезной» (два на три метра примерно) и ещё более крошечной кухонькой, чего-то всё принося, нарезая, подкладывая.

— Батюшка, миленький, мать Серафима велела вот окрошечкой вас попотчевать, селёдочка ещё «под шубой» вот настоялась уже, рыбка красненькая малосолёная, пирожки с грибочками, Лёшенька, вам окрошечки погуще?

— Садись с нами, мать-хлопотунья, всего достаточно, сама покушай!

— Спаси Господи, батюшка, я уже поснедала! Вот капусточки квашеной Нина только сичас принесла! Лёшенька, кушайте, не стесняйтесь!

Я не стеснялся и кушал, хотя вкус пищи не доставлял мне, как прежде, отрады и услаждення, елось как-то само по себе. Переполнявшее меня новое чувство радостной лёгкостн н тнхого трепета как бы перекрыло собой все прочие чувства и ощущения. Я с любопытством вслушивался вглубь себя — там было тихо, чнсто и хорошо!

— Алексей, ты тут спокойненько чаёвннчай, я уже в храм пошёл, чай попьёшь и приходн, не торопнсь.

Флавнан встал, молча помолился, перекрестнлся шнроко, вздохнул н бочком выбрался из-за стола.

Дожевав пнрожок с малиной, запив его ароматным «с мнлнцней» («мелнссой» в ннтерпретацнн Клавдии Ивановны) чаем, я тоже встал, перекрестился, в подражанне Флавнану — шнроко н неторопливо.

— Клавдня Ивановна! А какую молитву после еды положено чнтать?

— Снчас, Лёшенька, снчас, мнленькнй, вот она тут, в молитвословчике, тридцать вторая страннчка, вот: «Благодарим Тя, Христе, Боже наш...». Нате, сами, Лёшенька, прочитайте!

Слегка запинаясь, я прочитал.

— Лёшенька! Как же отрадно на вас смотреть теперича! Помннте, я вам говорила, что у батюшкн, золотенького нашего, Флавиана, самое душе отдохновенне и отрада? Вон ведь и вы прям сняете сегодня, а ехали-то сюда грустненький такой, тревожненькнй, страсть как жалко вас было!

— Я, Клавдия Ивановна, даже и не верю теперь, что это был я! Такое ощущение, что меня от прежней жизни вечность отделяет, хотя третий день только, как я из Москвы выехал...

— Так вечность и отделяет, Лёшенька, миленький, дорогой, блаженная вечность — Царство Небесное! Кто божественной жизнью жить начинает, для того навсегда, Лёшенька, ровно пропасть какая от прежнего разверзается, нету уж назад дороги. Враг-то, лукавый, порой сбить человека пытается: давай, мол, назад — в прежнюю жизнь! А туда уже хода и нету — только в пропасть! Жил, не зная Бога, — одна погибель, познал да отрёкся — много раз худшая! Так что вы, Лёшенька, драгоценный, туда — назад — даже и не смотрите, только на Господа Спасителя нашего, Церковь Святую. И вот батюшку Флавиана слушайте, видели — сколько к нему народа приехало? А уж что тут на Пасху бывает! И не сосчитать. И профессора-доктора какие-то, и военные большие, и художники из Москвы, ну и мы, которые попроще, не перечесть, в общем. И все приезжие отовсюду! Местных-то немного осталось: человек, может, около сорока. Но в церкву почти все ходят, а не везде так. В других местах (а я ведь, Лёшенька, «перекати поле» — много где побывала) в основном пьют, местные-то, смертным запоем и мрут. А здесь, в Покровском, люди благочестивые, тоже ведь не без трудов батюшки нашего ненаглядного, отца

Флавиана. Ой, Аксинья колокольню открывает, сичас звонить зачнёт! Идите в церкву, Лёшенька, милый, идите ко всеночной, я сичас стол приберу быстренько и — бегом за вами!

— Спаси Вас Господь за угощение, Клавдия Ивановна!

— Во славу Божию, Лёшенька! Во славу Божию, миленький!

В храме стояло тихое гудение — как на пчельнике, около Серёгиной дачи, снаружи приглушённо и мелодично раздавался лёгкий и какой-то свадебный перезвон колоколов. Вполголоса переговаривающиеся люди неторопливо и целеустремлённо передвигались по церкви: от входа к прилавочку — «свечному ящику». Там сосредоточенная мать Серафима вместе с высокой бледной Анной отпускали пахувшие мёдом янтарные восковые свечи и принимали записки «О здравии» и «О упокоении», писавшиеся прихожанами тут же, рядом, за чуть-чуть покосившимся деревянным столиком с нарезанными, видно, вручную, листочками тетрадной клетчатой бумаги и пучком дешёвых шариковых авторучек, торчащих из гранёного стакана. Подавшие записки и купившие свечи прихожане передвигались в центр храма, где на узорчато-резном (не иначе — Семёновой работы) аналое лежала старинная, без оклада, икона, утопающая в окружении с удивительным вкусом

подобранных, деликатно и в то же время богато мерцающих живых цветов (ай да Нина — молодец!). Степенно перекрестившись и поцеловав эту икону, люди ставили разной величины свечи на два больших, стоящих наподобие почётного караула с двух сторон от иконы, подсвечника, молились и растекались далее по храму живыми перешёптывающимися ручейками к другим иконам и другим подсвечникам. Так продолжалось какое-то время, пока очередь у свечного ящика не истаяла почти полностью, мать Серафима, оставив Анну в одиночестве, не скрылась за боковой дверью центрального алтаря, а прихожане в большинстве своём не закончили обряд расставления свечей и целования икон. Колокола снаружи смолкли. Я потихонечку пробрался в переднюю часть храма и тихой мышью проскользнул в левый угол, где за старинной тусклой крещальной купелью, покрытой увенчанной маленькой луковкой с крестом крышкой, мой зоркий глаз приглядел простую деревенскую лавочку (а вдруг с непривычки устану?). К тому же, по моим расчётам, из этого уголка мне будет хорошо видно всё происходящее.

— Правильно, Лёшенька, хорошее место выбрали, — раздался радостный шёпот неизвестно как оказавшейся рядом Клавдии Ивановны, — я завсегда туточки становлюсь!

Место действительно было удачным. Передо мной справа, на возвышении, в альбомах по древней архи-

тектуре называемом «солея», раскрывалась панорама иконостаса, старого, с глубокой горельефной резьбой, изображающей виноградные гроздья вперемежку с виноградными же листьями и другие, более мелкие растительные орнаменты. Позолота иконостаса потускнела от времени, местами даже слегка подшелушивалась. Иконы всех четырёх возносящихся к куполу рядов иконостаса были тёмные, с просвечивающей сквозь тускло-коричневатую олифу бледной зеленью фона (что-то похожее я видел в альбоме Симона Ушакова) и посверкивающими проблесками глазных белков. От икон веяло строгостью и теплотой. В правом углу иконостаса, в отгороженном иконами закуточке, собрались, очевидно, певчие — мужчины и женщины, человек, наверное, двенадцать. Большинство — скромно, по-городскому одетые, среди них несколько явно деревенских старушек и две тоненькие, деревенские же, девочки-подростка. Мальчик лет тринадцати, в несколько длинной ему золотой церковной одежде, раскладывал какие-то книги на широком деревянном аналое, разделённом на «этажи» реечками-полочками.

— Серёженька, который в стихаре мальчик, наш соловушка звонкий — псаломщик, именинник ведь завтра, ангелочек наш чистый, — шепотом пояснила Клавдия Ивановна. — Радонежский-то чудотворец Сергий — Серёженькин ангел-покровитель!

— Так завтра праздник Сергия Радонежского?

— Его, его, Алёшенька, всероссийского нашего Игумена, столпа русского монашества, исцелителя девочки моей, Катеньки, милостивого! Вон она сама, видишь, поближе к его иконе с мощевичком встала, молится, голубушка моя многострадальная!

Посмотрев, я увидел Катю, медленно и сосредоточенно накладывающую на себя крестное знамение. Весь её облик был — воплощённая кротость и молитва. «Господи, помоги ей!» — подумал я и перекрестился.

Внезапно, вслед за шорохом открываемой в центральных, царских, вратах алтаря завесы, приглушённый рокот прокатился по храму, и всё стихло. Ярко вспыхнуло и засияло начищенное Флавианом паникадило, плавно распахнулись створки царских врат, тягучий смолистый аромат ладана лёгким облаком выплыл из алтаря и распространился по всей церкви. Мерное позвякивание кадила в алтаре было единственным звуком в замершем в благоговейном молчании храме.

Позвякивание смолкло.

«Слава Святей, и Единосущией, и Животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков!» — прозвучал неожиданно сильный, чистый, звучный, сдержанно ликующий, юношески звонкий голос Флавиана.

«Аминь!» — мягко, чуточку тягуче, приглушённо-благородно и в то же время внутренне мощно отозвался хор. Стоящие в храме дружно закрестились и закланялись.

«Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу!

Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу!

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему!

Приидите, поклонимся и припадем к Нему!» — ангельски-восторженное трёхголосье, взлетевшее из алтаря над храмом и охватившее, казалось, весь призываемый на поклонение Любящему Создателю сотворённый Им мир, отозвалось в моём сердце вспыхнувшим желанием не просто поклониться, а именно — припасть, припасть и сердцем, и телом, и всем моим существом к Нему, Царю и Богу моему — да, да! — именно так я пронзительно ощутил сейчас — Царю моему и Богу моему — Христу.

Опустившись коленями на истёртые — скольких уже припадавших видевшие?! — каменные плиты пола, я прижался лбом к их прохладной шероховатости и ощутил радостную причастность ко всем здесь стоящим и кланяющимся, и ко всем здесь стоявшим и кланявшимся, и припадавшим к нашему Творцу во все века жизни этого храма православным: «И я тоже — Твой, Господи!»

— **Глас осмый! Благослови, душе моя, Господа!** — серебряным колокольцем прозвенел голосок именинника Серёжи, и хор подхватил густым тягучим распевом:

— **Бла-го-сло-ве-е-е-е-ен е-си, Го-о-о-осподи...**

На солею из царских врат выплыл отец Флавиан, и я поразился его внезапному преображению: вместо недужного, прихрамывающего, усталого толстяка явился облачённый в зелёно-золотые сверкающие доспехи, умудрённый в боях, величественный полководец, могучий богатырь, преисполненный силы и достоинства, священник Бога Вышнего, неторопливо и благоговейно совершающий священнодействие воскурения благоухающего фимиама. Под тихо струящийся распев древнего песнопения Флавиан твёрдой поступью прошествовал сначала в одну, а потом в другую сторону от растворённых царских врат, останавливаясь перед каждой иконой и с благоговейным поклонением совершая перед нею крестообразное каждение. Затем, став на амвоне, покадил в сторону хора, ответившего на это полупоклоном, и, повернувшись к молящимся, веерообразно охватывая каждением весь храм, негромко возгласил: **«Дух Святый найдет на вас и Сила Вышнего осенит вас!»**

«Дух Твой благий наставит нас на землю праву!» — мягким рокотом прокатился по храму ответ молящихся.

— Той же Дух содействует нам вся дни живота нашего, — прошептала рядом со мной склонившаяся к кадящему священнику Клавдия Ивановна.

Сойдя со ступеней амвона, Флавиан направился в противоположную от меня сторону и, обходя храм по

часовой стрелке, продолжал каждение икон и молящихся, то и дело возглашая:

— Дух Святый найдет на вас...

Слыша в ответ:

— Дух Твой благий...

Атмосфера богослужения, охватившая меня непередаваемым ощущением патриархальной древности и в то же время какой-то вневременности происходящего, отзывающиеся резонансом в глубинах души звуки священных песнопений, трепет свечей, сияние паникадила, терпкий аромат душистого ладана, поражающее единство чувств, движений, внутренней собранности молящихся, — всё это было пронизано невидимой, но явственно ощущаемой созидательной Божественной Силой. Другой, неведомый прежде мир, мощно разящий душу богатством своей красоты, окружал меня со всех сторон, и я, ощущая себя почти иностранцем в этом Царстве Церкви Христовой, в то же время чувствовал, что здесь я — дома, именно здесь, среди этих людей, среди этих звуков и света, в этом пульсирующем море Божьей Любви. Когда Флавиан, проходя мимо меня в своём торжественном великолепии, блеснул в мою сторону ласковым лучиком взгляда и окатил нас с Клавдией Ивановной клубом кадильного благоухания, я, приклонив голову, как будто бы уже и привычно, ответил:

— Дух Твой благий наставит нас на землю праву!

ГЛАВА 10. **ВСЕНОЩНАЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ**

Каждение завершилось. Флавиан вошёл в алтарь. Царские врата закрылись. Паникадило погасло. Церковь погрузилась в тёплый полумрак. Хор закончил песнопение и воцарилась тишина.

«Миром Господу помолимся!» — уже не восторженно-ликующий, но властно призывающий голос Флавиана, подобно призыву вождя — «к оружию, братья!», — разорвал трепещущую тишину храма.

«Го-споди, поми-луй», — мягко, но с ощутимым внутренним напряжением отозвался хор, и я почувствовал в этом напряжении напряжение воина, поднимающегося на битву и воздвизающего неторопливо, но уверенно несокрушимое оружие — молитву христианскую.

«О свышием мире и спасеиии душ иаших Господу помолимся!» — вот за что — за ниспосылаемый свыше от Господа мир и спасение от вечной погибели наших душ — разворачивается сражение!

«Го-споди, поми-луй!»

«О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и соедииеиии всех Господу помолимся!» — ратиый призыв уже вырывается за стеиы храма, пронзая пространства, охватывает весь мир, созывает в соединение и благое стояние в подвиге христианские воинства Божьих Церквей всего мира!

«Го-споди, поми-луй!» — верим, Господи! Верим в Твою милость, одиу лишь могущую дать силы для победы!

«О святем храме сем и с верою, благоговеиием и страхом Божиим входящих в оиь Господу помолимся!» — и нас, вошедших и стоящих, и молящихся, благоговеющих перед величием милости Твоей, укрепи, Господи!

«Го-споди, поми-луй!» — выдохиул единым молитвеиным вздохом, набирающий силу звучания, хор.

«О великом господиие и отце иашем Святейшем Патриархе Алексии и о господиие иашем Высокопреосвященнейшем архиепископе... честием пресвитерстве, во Христе диакоистве, о всем причте и людех, Господу помолимся!» — помяии, укрепи, утверди Силою Твоею, Господи, ведущих нас на битву воевод Твоих, пастырей, служителей, братий и сестёр наших, предводимых и ведущих воииство Христово к вечной славе Победителя-Христа!

«Го-споди, поми-луй!» — грянуло несокрушимо.

«О богохранимей стране нашей... О всяком граде... О верою живущих... О изобилии плодов... О страждущих, плененных... О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся!» — всем, Господи, всем, каждому и во всём, необходима Твоя животворящая и спасительная милость!

«Го-споди, помилуй!»

«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!»

«Го-споди, поми-луй!» — и нет больше желаний, нет собственных сил, нет иной радости в жизни, кроме Твоих, Господи, Божественных Милости и Любви...

«Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим!» — Матерь Божья! Святые Божьи! Помогите придти к Вам и быть с Вами в Жизни Вечной у престола Христа Бога! Жизни свои, сердца и души предаём...

«Тебе, Го-споди!» — с радостным изнеможением рухнул хор.

«Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!»

«А-минь!»

Мощь церковной молитвы потрясла меня. Первый раз в жизни, я участвовал в богослужении, причём не просто стоял или присутствовал, но именно участвовал! Всё происходящее в храме было не театральным лицедейством, которое ты наблюдаешь со стороны, лишь в той или иной мере позволяя ему затрагивать твои эмоции и вызывать соответствующую чувственную реакцию.

Богослужение совершалось не передо мной и даже не вокруг меня, но скорее внутри, проходя меня насквозь, как проходит солнечный свет сквозь прозрачный сосуд, наполненный чистой родниковой водой. Моё сердце, будто очищенное от кожуры, обнажённо пульсировало, мои тело, душа, всё существо, словно сами превратились в Храм, в котором совершалась Божественная служба.

Я был в храме, и храм был внутри меня, и в обоих присутствовал явственно ощущаемый Своей благодатною силою Бог.

«Глас шестый, блажен муж, Аллилуиа!» — вновь прозвенел с клироса ангельский голосок Серёжи-именинника.

«Блажен муж, иже не идет на совет нечести-ивых, Ал-ли-лу-у-ийа, Ал-ли-лу-у-ийа, А-а-а-али-лу-у-у-у-ийа...» — тревожно-трепетно подхватил хор, и завораживающий ритм псалма заструился прерывистым течением то взлетающей, то рассыпающейся горным ручьём мелодии.

И я, словно листок, подхваченный этим стремительным потоком, поплыл по нему, отбросив попытки контролировать ход своих мыслей и чувств и всецело отдавшись несущей меня упругой волне священного песнопения.

«... И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе...» — это не про меня, столько лет топтавшего пути всех возможных грехов...

«Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет», — Господи! Проведи меня в остаток дней моих путём праведных, да минует пути погибельные душа моя...

Вновь встало передо мной несчастное заплаканное лицо Ирины — лежит, наверное, бедняжка, в пропахшей лекарствами и чужой болью больничной палате, смотрит с тоской в окно... А может быть, молится... может быть, и обо мне... Может быть, я потому и вижу её перед собой и чувствую её страдание, что это она сама обо мне молится? Ведь Флавиан назвал же её в числе молитвенников за меня, наверное, он знает... Господи! Помоги бывшей жене моей Ирине!... Почему «бывшей»? — брошенной мною, жене моей Ирине, другой-то всё равно ведь нет у меня... Да и у неё тоже, никого... Кроме Бога... Господи! Не оставь её, ей плохо, больно, одиноко... как и мне было ещё два дня назад! Господи, даруй и ей утешение в скорби, вылечи её, Господи! Исправь то, что я исковеркал в её душе, пусть

Твоё Божественное утешение восполнит всё, чем я обделил её в нашей совместной жизни, пожалей её, Господи! Ты же пожалел погибающего меня, открыл мне другую, настоящую жизнь, наверное, ведь и её молитвами! Теперь я прошу, молю тебя, Господи, помоги Ирине, сделай так, чтобы ей стало легко, небольно и неодиноко! Господи, и меня помилуй, Господи!

Очнувшись, я увидел, что царские врата вновь открыты и перед ними, с дымящимся кадилом в руке, стоит величественная фигура Флавиана. Справа и слева от него, в сверкающих золотом облачениях-стихарях, с большими, обёрнутыми зелёной лентой свечами в руках стояли Семён и Серёженька, хор заканчивал какое-то песнопение. Вот наступила тишина.

«Премудрость, прости!» — возгласил Флавиан, начертав кадилом знамение креста в отверстых царских вратах.

«Свете тихий святыя славы Безсмертного Отца Небесного, Святаго, Блаженного, Иисусе Христе...» — затаённо-таинственно начал хор.

Флавиан, степенно-благоговейно перекрестившись и поклонившись, приложился к иконам Спасителя и Божьей Матери справа и слева от царских врат, обернувшись, широким крестом благословил Семёна и Серёжу, перешедших и соединившихся на амвоне лицом к алтарю в то время, когда он сам прикладывался к иконам, и вошёл в алтарь, где вновь несколько раз

неторопливо звякнуло кадило. Серёжа и Семён поклонились друг другу и через разные боковые двери также вошли в алтарь.

«Воимем! Мир всем! Премудрость!» — прозвучал из алтаря торжественный голос Флавиана.

«Прокимен. Псалом Давидов. Глас шестый, — зазвенел в ответ колокольчиком уже успевший выйти на клирос Серёженька. — **Помощь моя от Господа, сотворшаго небо и землю!»**

«Помощь моя от Господа... — мягко повторил за ним хор, — **сотворшаго небо и землю».**

«Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя!» — голосок Серёженьки взлетел ещё выше.

«Помощь моя...» — также мягко повторил хор.

«Помощь моя от Господа!» — голос Серёжи зазвенел натянутой струной.

«Сотворшаго небо и землю!» — утвердительно завершил хор.

Во время этого диалога через левые двери алтаря плавно и осторожно, ступая, словно по тонкому льду, вышел Семён, могучий в сверкающем золотом стихаре, благоговейно неся перед собою большую, в потёртом кожаном переплёте книгу. Он прошёл по солее, спустился по ступенькам амвона вниз и, повернувшись лицом к алтарю, положил свою книгу на быстро подставленную ему шустрой старушкой «разножку» — рас-

кладной аналой, после чего перекрестился и кротко поклонился стоящему в глубине алтаря Флавиану.

«Премудрость!» — воскликнул в алтаре Флавиан.

«Притчей чтение!» — густым, рокочущим басом отозвался Семён.

«Вонмем!» — призыв Флавиана пролетел во все уголки замершего храма.

«Память праведного с похвалами, и благословение Господне на главе его. Блажен человек, иже обрете премудрость...» Блажен... «Блажен» — значит «счастлив», это я уже догадался, а вот — «иже», «иже» — наверное — «который»... Ну да! Получается — «счастлив человек, который обрёл премудрость». Это — про меня. То, что я счастлив, я частично ощущал сердцем, частично понимал умом. Счастье пришло ко мне вместе с Богом, то есть я пришёл к нему, когда я пришёл к Богу, и, следовательно, счастье — быть с Богом! Вот это и есть Премудрость! Премудрость, то есть Мудрость, превосходящая все земные мудрости, скорее — земные мудрёности, лишь пытающиеся показаться настоящей мудростью и прикрывающие свою пустоту театральной мантией ложной таинственности. Оказывается, настоящая Мудрость проста — быть с Богом. А Бог — это Любовь, я уже это знаю, не просто верю в это, но — знаю, так как испытал и испытываю это на самом себе. Следовательно, Премудрость — быть в Божественной Любви, иметь её в себе, нести её другим. И в этой

Премудрости — блаженство, то есть — счастье. Надо же! Чего я теперь знаю! Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя, что ты умудряешь мой ничтожный самолюбивый разум Своей Божественной Премудростью!

«...И вернии в любви пребудут Ему: яко благодать и милость в преподобных Его, и посещение во избранных Его!» — прогремел высоко под куполом мощный голос Семёна, и возникшая за этим тишина словно ознаменовала застывший благоговейно мир, услышавший глас Самого Бога.

«Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем!» — раздался из алтаря голос Флавиана. Царские врата затворились.

— «Рцем» — по-церковному значит — «скажем»! — прошептала мне на ухо опытная в богослужениях Клавдия Ивановна. Я благодарно кивнул.

«Господи, помилуй!» — с готовностью отозвался хор.

«Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй!» — Флавиан чётко и внятно проговаривал каждое слово, и оно входило в твоё сознание, отзывалось в сердце и становилось как бы уже твоим собственным.

«Господи, помилуй!» — вместе с хором повторяло сердце.

«Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй!»

«Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поми-и-луй!» — словно бы разбегаясь н взлетая, прозвучал ответ хора.

«Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Алексии и о Господине нашем...»

Я тем временем несколько отключился от происходящего вокруг н, как бы сквозь сон, слышал, как Флавиан прнзывает молиться: «О богохраннмей стране нашей... о блаженных и приснопамятных создателях святаго храма сего... о милости, жнзнн, здравнн, спасении... о плодоносящнх н добродеющнх...» — н хор преданно поддерживает его молитву троекратным: «Господн, помилуй, Господи, помнлуй, Господн, помилуй!»

Слушая, как отзывается где-то в глубнне моего сердца это троекратно повторяемое прнзыванне мнлостн Господней, я вдруг вспомнил одну странную старушку, которой помог как-то на заре моей студенческой молодостн. Было это так. Я приехал на электричке на одну подмосковную, недалёкую от города станцию праздновать с друзьями Новый Год и сразу же заблудился в частых извилистых улочках дачного посёлка, перетекающего в деревню. Повернув в очередной раз за очередной поворот, я увндел какую-то странную фнгурку, копошащуюся в снегу придорожной канавы н что-то прнчнтающую. Прнняв поначалу эту фнгуру по естественной логнке собственного, слегка уже навеселе,

состояния и наступающего праздника, за местного пьянчужку, я намеревался было пройти мимо: сам напился — сам вылезай! Но вдруг отдельные слова жалостного причитания коснулись моего слуха, и я с удивлением распознал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй...»

Я заинтересованно подошёл поближе и обнаружил странного вида старушонку, как капуста, растопыренную множеством одёжек, пытающуюся вытащить из канавы съехавшие туда детские санки с привязанным к ним большим мешком картошки. Напрягая свои дряхлые силёнки, она охала, вздыхала и беспрестанно повторяла своё «Господи, помилуй».

— Бабуль, посторонись, дай-ка я сам, — не без труда вытащив на дорожку санки с тяжеленным мешком и слегка запыхавшись, я спросил: — Бабуль, дом-то твой далеко?

— Недалеко, сыночек миленький, спаси тя Христос, недалеко! Вон за той берёзкою налево, а там четвёртый дом по правой стороне, спаси тебя Господи, родненький!

Я дотянул салазки до бабулькиной калитки и, пропустив её вперёд открывать двери, которые оказались не запертыми, а просто припёртыми палочкой, втащил мешок в сени.

— Бабушка! Покажи, куда поставить, давай в дом занесу, а то помёрзнет в сенях!

— Спаси тя Христос, голубчик, за заботу о старухе никчёмной, огради от зла и помилуй! Сюда, миленький, сюда, Лёшенька, в закуточек за умывальничком!

В тот момент, ворочая тяжёлый мешок, я и не «въехал» сразу, что она назвала меня по имени, хотя я ей не представлялся. Поставив мешок в уголке между печкой и оловянным старым умывальником, висящим над видавшим виды эмалированным тазиком, стоящим на колченогой табуретке, я, разогнувшись, огляделся.

Домик, а точнее сказать, избушка была маленькой, приблизительно три на четыре метра, с низким закопчённым потолком и занимающей почти половину пространства слегка растрескавшейся русской печкой. Кроме печки в комнате были: столик со стоящими на нём алюминиевыми кружкой, миской и чайником, кривенький обшарпанный стульчик, большой сундук, застеленный какой-то немыслимой драненькой войлочной кошмой с лежащими на ней таким же драненьким тулупчиком и свёртком из тряпок вместо подушки. Кровати в комнате не было! Единственной мебелью, кроме вышеупомянутого, была небольшая фанерная вешалка, крашенная «серебрянкой», с висящими на ней порыжело-чёрными одежонками. Зато в правом углу, сверкая позолотой и мерцая лампадками, находился целый иконостас из множества разновеликих, но явно старинных икон, между которыми висели и стояли старинные фотографии каких-то вельмож и священников.

— Ого-го! Бабушка! Да как же ты не боишься дом на палочку закрывать? Это ведь сколько ж денег у тебя тут висит, не дай Бог, воры влезут, ограбят ведь!

— А Бог и не даст, миленький! Не бойся! Кого Он сюда не пустит, тот и не войдёт, а уж коли войдёт — на то Божья воля! А висят здесь не деньги, сыночек, а святые образа — чудотворные святыни, Лёшенька... Придёт время — поймёшь, ангел мой!

В это время брякнули со скрипом жестяные часы с кукушкой, я глянул на них.

— Ой, бабулечка, побегу я, мне ещё дачу друзей успеть найти надо до Нового года, заблудился я тут у вас!

— Найдёшь, родненький, Ангел Хранитель приведёт, подожди, голубок, мгновеньице, я тебя Иерусалимским Крестиком благословлю!

Она скинула свою кацавейку, вязанную драненькую безрукавку и протёртый, некогда пуховый платок и оказалась в странной одежонке, вроде чёрного капюшона с передником и погончиками, расшитых белыми херувимчиками, крестами и славянскими буквами. Бочком проковыляв к иконам, странная старушка взяла откуда-то среди них небольшое распятие из тёмного полированного дерева и, повернувшись ко мне, широким взмахом перекрестила меня этим распятием, проговорив что-то про Отца, Сына и Святого Духа. Затем, устремив на меня взор неожиданно ярких, светящихся радостью глаз, сказала:

— Ну, иди, сыночек, буду молиться за тебя и Алексея Божьего человека упрошу молиться, да спасёт тебя Господь за твоё доброе сердечко, иди, милый!

Выйдя от старушки, не успев ещё переварить своими затуманенными хмельком мозгами увиденное, я уже через пять минут наткнулся на указанную мне друзьями как опознавательный знак калитку со столбами, вырезанными в виде сказочных богатырей. А ещё через пять минут я уже допивал вторую «штрафную», догоняя провожающих старый год друзей. Вернувшись в Москву через три дня сплошного «гулянья», «поправив здоровье» пивком, я приступил к институтской жизни, напрочь забыв и странную старушку, и поразивший меня иконостас, и Иерусалимский Крест.

И сейчас, взглянув на стенную роспись слева от меня, я вдруг увидел изображение святого в точно таком же капюшоне с передником, расшитых крестами, и вся сцена со старушкой отчётливо встала перед моим внутренним взором.

— Клавдия Ивановна! — прошептал я. — А что это за одежда такая, вот на этом святом? Кто такую носит?

— Это Великая Схима, Лёшенька, — также тихо прошептала в ответ Клавдия Ивановна, — носят её схимники, которые монахи высшего пострижения, — Ангелы земные!

— Господи! — подумал я. — Сколько же раз призывал Ты меня, и как дивно! Как же я был глух и слеп! Прости меня, Господи!

Тем временем левые двери алтаря отворились, и из них на солею вышла целая процессия: впереди сосредоточенный и серьёзный, держа в руке лёгкий напольный подсвечник со вставленной в него высокой и толстой свечой, шёл именинник Серёжа, хрупкий и какой-то весь светящийся. За ним, не менее сосредоточенный, громадный в своём сверкающем стихаре на фоне хрупкого Серёженьки, держа перед собой струящееся ароматным дымком ладана кадило, шествовал Семён. Флавиан замыкал шествие, одетый вместо торжественно блестящей ризы в длинную чёрную мантию, без рукавов, со множеством мелких складок по центру спины. Его крупную, слегка склонённую голову венчал высокий монашеский клобук. Когда процессия спустилась с амвона, сзади к ней пристроились певчие, заранее спустившиеся с клироса и поющие на ходу что-то призывно-покаянное. Народ в центре храма раздвинулся, освобождая место идущим, и вся процессия вышла в притвор. Я было потянулся перейти на другое место, откуда мне видно было бы происходящее в притворе, но что-то остановило меня, какая-то внутренняя неловкость — чего, мол, глазеть — не в театре же...

— Правильно, Лёшенька, во время службы по храму бегать-то не положено, — шепотком одобрила Клавдия Ивановна. — Стой вон, как свечечка, и молись сердечком, Господу так-то угоднее.

Я благодарно кивнул ей и прислушался.

«Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояине Твое, посети мнр Твой милостию и щедротами... — негромкий, сосредоточенный голос Флавиана мягким эхом отдавался из притвора по всему храму. — **...И иизпосли иа ны милости Твоя богатыя молитвами Всепречистыя Владычицы иашея Богородицы и Присиодевы Марии, силою Честиаго и Животворящего Креста, предстательствы Честиых Небесиых Сил безплотных, честиаго славиого пророка, Предтечн н Крестнтеля Иоаииа, святых, славиых н всехвальных Апостол...** — голос Флавиана наливался силой, — **...святых славиых и добропобедиых мучеииков, святых иовомучеииков и нсповедииков Российских и святых Царствениых Страстотерпцев, преподобиых и богоносиых отец иаших, святых и праведиых богоотец Иоакнма и Аниы...** — звуки голоса Флавиана, словно взмахами больших лебединых крыльев, взлетали всё выше, — **и преподобиого и богоиосиого отца иашего Сергия, Игумеиа Радоиежского и всея Росснн чудотворца, его же честиых мощей обретеиие диесь светло праздиуем, и всех святых...** — это был уже крик, крик пастуха, приведшего сквозь бурю перепуганных, доверчиво жмущихся к нему овец, крик, обращённый к хозяину об отворении закрытых ради ненастья врат овчарни, — **...молим Тя, миогомилостиве Господи, услыши иас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй иас!»**

«Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй... — скороговоркой, словно боясь остаться вне родного пристанища, во тьме и страхе смертном, заторопился хор. — **Господи, помилуй, Господи, помилуй...»**

— Сичас сорок раз будут повторять, потом пятьдесят, — тихонько прокомментировала мне на ухо Клавдия Ивановна, — это чтобы милости у Господа побольше выпросить.

Я опять молча кивнул ей. Подумалось: а ведь какие удивительные слова «Господи, помилуй»! Ведь когда мы говорим «помилуй», мы имеем в виду и — «прости грехи», и «укрепи в вере», и «защити от зла», и «научи жить по-христиански». Да и многие другие просьбы о вещах, необходимых для спасения души, заложены в этих удивительно всеобъемлющих словах — «Господи, помилуй»!

«Услыши ны, Боже, Спасителю наш, Упование всех концев земли и сущих в мори далече; и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших и помилуй ны. Милостив бо и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!» — исполненный непоколебимой надежды на милосердие Божье, звенящий напряжённостью всех чувств и сил души, голос Флавиана прорезал воцарившуюся в храме благоговейную тишину и, пролетев все уголки церкви, отозвался под куполом.

«Аминь!» — смиренно засвидетельствовал хор.

«Мир всем!» — с радостью возвестил Флавиан, словно объявляя, что наша молитва услышана, и Мир Божий подаётся нам Всещедрым Владыкой.

«Главы наша Господеви приклоним!». «Господеви» — значит «Господу» — догадался я, склоняя голову.

«Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии; силою Честнаго и Животворящего Креста; предстательствы Честных небесных Сил Безплотных; Честнаго Славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна; святых славных и всехвальных Апостолов; святых славных и добропобедных мучеников; преподобных и богоносных отец наших; иже во святых отец наших...»

— Господи! — подумал я. — Скольких же заступников, ходатаев и помощников Ты даровал нам, грешным, в помощь! Сама Богородица, Святые Небесные Силы — ангелы — молятся о нас, Иоанн Креститель, Апостолы и Мученики, все святые, которых во множестве перечисляет сейчас в молитве Флавиан, все они готовы придти к нам на помощь. А мы в своём гордом нежелании их замечать — «я сам!» — тыкаемся по жизни как слепые котята, тонем, отвергая протянутую нам с Неба спасающую руку. И ведь не обижаются же они, святые, на нас за наше к ним небрежение, наверное, потому они

и святые, что не обижаются... Не то, что я, грешник... Прости меня, Господи, молитвами святых Твоих!

Хор допел что-то щемяще-трогательное, и наступила тишина.

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...» — тихим глубоким голосом запел Флавиан, и в этом голосе слышна была усталость старого, утомлённого боями и походами воина, который шёл, сколько мог, потом ещё столько, сколько был должен, и вот теперь, выполнив свой солдатский долг, смиренно принимает из рук военачальника увольнительную навечно — «яко видеста очи мои спасение Твое» — старый воин видит грядущую Великую Победу, он жалеет, что уже не будет к ней причастным, но чувство исполненного долга наполняет радостью его сердце, которое ликует, видя грядущий «свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля!»

Углублённый в сопереживание этого дивного песнопения, я не заметил, как лёгким лучом мимо меня проскользнул Серёженька и встал на солее перед иконой Божьей Матери.

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертиый, помилуй иас! — звонкий, детски чистый, детской же верой исполненный голос мальчика взлетел над головами молящихся. — **Слава Отцу и Сыиу и Святому Духу, и иыие и присио и во веки веков. Амииь!»**

— Действительно — как ангел, — вспомнил я ласковое сравнение Клавдии Ивановны, — наверное, сами ангелы с такой же, Серёженькиной, любовью и искренней преданностью служат Богу...

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!» — мальчик не пел, не читал, не возглашал — он жил, жил произносимой им молитвой, он весь как бы сам превратился в молитву и летел, летел, обгоняя звуки своего ангельского голоса, туда, ввысь, где ожидал его любящий Небесный Отец.

«Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков!» — засвидетельствовал уверенным возгласом Флавиан.

«Аминь!» — подтвердил хор.

У меня начала кружиться голова. Боясь потерять сознание и всех смутить, я начал тихонько пробираться к выходу.

ГЛАВА 11. ВСЕНОЩНАЯ: ОКОНЧАНИЕ

Наверное, в какой-то момент я всё-таки отключился, но, кажется, на этот раз не упал. Встряхнувшись, я обнаружил себя сидящим на скамеечке около колокольни, с расстёгнутым воротом и в окружении сидящих по бокам Клавдии Ивановны и подтянутого мужчины лет пятидесяти-шестидесяти, с благородными чертами лица, обрамлённого густыми вьющимися, совершенно седыми волосами, который с искренней заботой смотрел на меня карими, умными и слегка грустными глазами. Одет он был скромно по-городскому, в недорогую пиджачную пару и светлую рубашку без галстука, но из-под брюк выглядывали щёгольские хромовые сапоги, носимые обычно офицерами высшего командного состава, какие в «Военторге» не продаются.

— Ну, слава Богу, пришёл в себя! Лёшенька, миленький, ну и напугали вы меня! Гляжу — побледнел и из церквы уходит, я — сразу за вами: ну как помочь-то

надо будет! А вы вышли на крылечко и стоите, за стеночку держитесь, глазки потупили и дышите тяжело. Я уж вас на лавочку-то присадила, а тут и Димитрий Ларионович вышел, его батюшка Флавиан послал посмотреть — что с вами приключилось! Димитрий Ларионыч, голубчик! Вы за Лёшенькой присмотрите? Я побегу, чтоб к помазанию не опоздать! — и, не успев услышать ответа, Клавдия Ивановна подхватила своё пышное тело и быстренько понесла его под колокольню ко входу в храм.

— Вы, Алексей, не беспокойтесь, ничего страшного с вами не случилось. Подурнело немного и всё, это оттого, что лето, жарко, а в храме хоть и открыты окна, но от безветрия душновато из-за народа. Да и с непривычки на долгой службе, отец Флавиан ведь по монастырскому уставу служит, выстоять тяжеловато. Ну и для вас лично уж очень сильная психо-эмоциональная нагрузка за один день. Первая серьёзная исповедь, это мне Клавдия Ивановна сообщила, глубокие молитвенные переживания на богослужении, при вашей эмоциональной восприимчивости — это серьёзный стресс. Стрессы ведь не только на почве негатива возникают, но и от переизбытка положительных эмоций тоже.

— Вы офицер? — не к месту спросил я.

Дмитрий Илларионович засмеялся: «Сапоги заметили! Отец у меня был офицер! Белой гвардии штабс-капитан, это его сапоги, я их по праздникам в церковь

одеваю, выглядит странно, быть может, но для меня в этом некая смысловая сокровенность имеется. Вы уж простите великодушно, если смутил вас!

— Что вы, что вы, Дмитрий Илларионович! Вы простите мою нескромность, я и вправду подумал, что вы — офицер, весь ваш облик какой-то офицерский!

— Благодарю покорно! — снова засмеялся Дмитрий Илларионович. — Видно — наследственность, кровь. Я — врач. Сперва терапевтом был, потом область души человеческой интересовать стала, переквалифицировался в психиатры, а поработав в этой области с десяток лет, в Бога уверовал и с помощью отца Флавиана досточтимого, воцерковившись, окончательно мировоззрение по полочкам разложил.

— А давно вы с отцом Флавианом знакомы? — спросил я.

— Да года, наверное, с восемьдесят восьмого-восемьдесят девятого, я третий год как из Сибири в Москву перевёлся. Я ведь в Сибири родился, в ссылке. Отец мой за своё белогвардейское прошлое восемнадцать лет в лагерях отбыл, плюс пожизненная ссылка. Мамочка моя все те годы рядом с ним была, устраивалась жить неподалёку, навещала, передачи собирала для многих. Она хорошим зубным врачом была, везде ценилась как специалист, многих из лагерного начальства лечила с членами их семей, должно быть, потому

отец живым в том аду и остался. А на вечное поселение его отправили в Алтайский край, Мариинский район, деревня Волчиха. Там я в сороковом и родился. Мединститут кончал в Новосибирске, там же и работал первое время. А когда мои некоторые разработки в психиатрии широкое применение находить стали, меня в Москву пригласили перейти, во Всесоюзный НИИ психиатрии, где я сейчас до пенсии и дорабатываю.

— Дмитрий Илларионович, вы сказали, что, поработав психиатром, в Бога уверовали, это как-то связано было с вашей профессией?

— Бесспорно, связано, Алексей, вас как по отчеству?

— Пожалуйста, Дмитрий Илларионович, просто — Алексей, ладно?

— Хорошо, как вам, Алексей, приятнее. Профессия психиатра действительно располагает к познанию материй духовных, так как примерно восемьдесят процентов психиатрических больных по-хорошему должны быть «пациентами» отца Флавиана, то есть, в принципе, как таковой настоящей медицинской патологии немного. Даже название заболеваний — «психические» — от слова «психе» (по-гречески — «душа»). До революции так и называли — «душевнобольные». А душа — область деятельности духовенства и лишь в некоторых случаях ещё и врача. К тому же среди душевнобольных много просто откровенно одержимых

бесами людей. Вам когда-нибудь приходилось видеть одержимого?

— Да. Здесь, позавчера.

— А! Наверное, бедную Катюшу! Вот как раз типичный пример душевного заболевания, не поддающегося медикаментозному воздействию. Так как причина заболевания духовная — грех, так и инструмент исцеления духовный — Благодать Святого Духа! А в обычной психиатрической больнице её бы закололи аминазином с галапиридолом или добили бы в Казани электрошоком.

— Дмитрий Илларионович! А не секрет, как Вы в Бога уверовали?

— Не секрет, конечно. Если Вам, Алексей, это интересно, могу рассказать. К серьёзным размышлениям о Боге меня подтолкнули два случая из врачебной практики, ещё в Новосибирске. Собственно, я и до того Бога никогда не отрицал, тем более не хулил, но как человек, получивший сугубо материалистическое медицинское образование (в таком виде нам его тогда давали), от вопросов религиозных я был весьма далёк.

— Служа уже в центральной областной психиатрической больнице штатным психиатром в четвёртом отделении и сталкиваясь с отдельными проявлениями отклонений человеческой психики, не описанными в советских учебниках, я, по природной своей пытливости, стал интересоваться опытом предыдущих поко-

лений докторов, включая дореволюционных. Там я обнаружил объяснения некоторых своих недоумений, но все они были так или иначе связаны с религиозными понятиями о душе и душевных болезнях. В частности, тогда я в первый раз встретился с понятием «одержимости» или «беснования» и в приведённых примерах опознал явные совпадения с наблюдениями из своей собственной практики. Несмотря на всю архаичность изложения, некоторые принципы подхода к диагностике и лечению душевнобольных показались мне заслуживающими внимания, и я решился на эксперимент. Вместе с таким же, как я, молодым доктором М. (сейчас он священник и настоятель домовой церкви во вновь организованном православном отделении той же центральной областной психиатрической больницы, где мы с ним тогда служили вместе) мы решили опробовать старинный способ определения одержимости с помощью святой воды. Способ этот предельно прост. Больному предлагают для питья на выбор несколько стаканов с водой, из которых только один наполнен обычной водой, а остальные — святой, то есть освящённой в церкви священником с помощью молитв и креста. Так вот, если болезнь душевнобольного имела природу не естественную, а демоническую, то он любое количество раз безошибочно выбирал из всех стаканов тот, в котором была обычная, не освящённая вода.

Для эксперимента мы выбрали больного Т., страдающего припадками неясного происхождения, которые достаточно условно были обозначены в его карте как «неорганическое заболевание центральной нервной системы». К тому же сам Т. был среднего возраста, тихий кроткий человек, в котором болезнь, кроме ежедневных припадков, впрочем, достаточно коротких, ничем иным себя не проявляла. Болен он был около трёх лет, за время которых частота припадков прогрессировала с одного припадка в три месяца до ежедневных. Лекарственные препараты того времени существенных результатов не давали.

Доктор М. принёс двухлитровую банку святой воды, которую доставила ему из церкви двоюродная сестра, мы взяли в пищеблоке шесть стаканов, пометили их с помощью кусочков лейкопластыря и шариковой авторучки таким образом, что никто, кроме нас самих, не смог бы отличить эти метки, и приступили к эксперименту.

Заранее разлив по пяти стаканам святую воду и в один — простую, мы пригласили Т. и предложили ему выпить воды из стакана, который он сам может себе выбрать.

Т. посмотрел на стаканы с водой, как-то съёжился, затем, устремив на доктора М. прожигающий ненавистью взгляд, с не свойственной для него хрипотцой, сказал:

— А не боишься ты, батюшка, со мной в эти игрушки играть?

После чего уверенно взял единственный стакан с простой водой. Но мы, не дав ему выпить, переменили положения стаканов и вновь предложили взять один. В течение эксперимента мы восемь раз меняли положение стаканов, и каждый раз Т. безошибочно брал тот, в котором была простая вода. После восьмого раза, переставляя стаканы в девятый, закрывая свои действия от Т. своей спиной, доктор М. незаметно плеснул немного святой воды в стакан с простой. Реакция Т. не заставила себя ждать:

— Сам пей свою гадость, поп! — грубо рявкнул обычно вежливый Т. и отвернулся к окну.

Оставшись одни, мы с доктором М. долго сидели молча. Потом он, поднимаясь, выдохнул то, о чём думали мы оба: «Значит, есть Бог.»

— Да. Значит, есть — подтвердил я.

В следующее воскресенье утром мы с доктором М., не сговариваясь, встретились у входа в храм.

— А другой случай, Дмитрий Илларионович?

— Лёшенька, Дмитрий Ларионыч! Идите скорее к помазанью, сейчас батюшка Евангелие читать начнёт! — Клавдия Ивановна торопливо махала нам рукой с крыльца церкви.

— Ну тогда, Алексей, про второй случай в следующий раз! — и мы, поднявшись со скамейки, пошли в храм.

Храм, когда мы вошли в него, оказался весь наполненным света. Сияло большое паникадило в главном

приделе, сияли маленькие паникадильца в боковых приделах, все подсвечники были заставлены ярко горящими свечами, казалось, сиял и светился сам воздух в храме. Царские врата были распахнуты, сквозь них в алтаре я увидел сверкающую золотом ризы спину Флавиана, тонкий изысканно-терпкий аромат фимиама мягкими волнами растекался по всей церкви.

«И о сподобитися нам слышанию Святаго Евангелия, Господа Бога молим!» — взволнованно-торжественный голос Флавиана пронизал трепетную тишину храма.

«Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» — с готовностью отозвался хор.

«Премудрость! Прости! Услышим Святаго Евангелия! Мир всем!» — и все присутствующие склонили головы в благоговейном поклоне, принимая преподаваемый им мир Божий.

«От Матфея Святаго Евангелия чтение!» — в голосе Флавиана слышалась какая-то уходящая в глубь времён затаённость, словно он был где-то уже и не здесь, а погружался в необъятный мир Святого Евангелия, прозревая там нечто, недоступное нашему земному взору.

«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» — осторожно-взволнованно воззвали певчие.

«Вонмем!»

«Рече Господь Своим учеником, — низким глубоким голосом начал Флавиан, и все стоящие в церкви

замерли, с трепетом ожидая услышать Слово Самого Господа, осознавая, что произнесённое Христом две тысячи лет назад, оно так же относится к Его сегодняшним ученикам, как и к непосредственно слушавшим Его тогда апостолам, — **вся Мие предаиа суть Отцем Моим, и иинктоже зиает Сыиа, токмо Отец, ни Отца кто зиает, токмо Сыи, и емуже аще волит Сыи открыти.** — Голос Флавиана возвышался, словно поднимаясь по ступеням невидимой лестницы, расширялся и креп, заполняя собою весь храм. — **Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремеиеиии и Аз упокою вы.** — Взлетая всё выше, голос Флавиана пронизывал души слушающих, наполняя их непреложным упованием и верою Божественной Истине. — **Возмите иго Мое иа себе и иаучитеся от Меие: яко кроток Есмь и смирен сердцем.** — Евангельское Откровение уже звенело под куполом храма. — **И обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть!»** — словно с самого неба прозвенел высокий торжествующий ангельский глас.

«Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» — ликующе утвердил хор.

Я замер, как бы несколько оглушённый не столько силой и великолепием самого чтения, сколько врезавшимися в моё сознание Евангельскими словами:

— Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные.

Ведь это про всех нас, и про меня лично! Мы все волею или неволею пребываем в трудах — трудах житейских, трудах нравственных по преодолению наполняющих нашу жизнь трудностей и проблем. Мы все обременены заботами, скорбями, собственными желаниями, страстями и грехами, тяжесть которых я осознал совершенно, лишь получив освобождение от них на исповеди. Мы все можем получить столь желанные свободу и покой, но только тогда, когда придём к Нему, Единому, могущему освободить нас и упокоить и призывающему нас к Себе.

— Возьмите иго Моё на себя... «Иго», как я помню, по словарю Ожегова, — это «порабощающая сила». Господь предлагает нам принять Его иго... Но если Бог — есть Любовь, значит, иго Христово и есть порабощающая Сила Божественной Любви! Тогда понятно, почему Христос возвещает, что иго Его благо и бремя Его легко! А ведь всё наше воспитание было пронизано ненавистью к любому рабству, как мы издевались над именем «раб Божий»! Как мы не понимали поступки некоторых крепостных, отказывавшихся от освобождения и предпочитавших добровольное рабство у любимых ими добрых господ! А какой господин может быть добрее Господа Бога, который Сам есть — Любовь и Доброта! Значит, нет и не может быть большего счастья и блаженства, чем взять на себя благое иго Христово и пребывать в добровольном рабстве Его Божественной

Любви! И путь к этому блаженству ясно указан Господом: «Научитесь от Меня: так как Я кроток и смирен сердцем!» Именно в кротком и смиренном сердце только и может пребывать всепоглощающая Божественная Любовь. И если ты не принимаешь на себя это святое иго Божественной Любви, то всё равно становишься рабом, рабом собственных желаний и страстей, рабом греха и смерти, рабом противника Божьего — дьявола.

— Лёшенька! Пойдёмте помазываться! Задумался, миленький, — Клавдия Ивановна осторожно тянула меня за рукав, — иди вперёд, голубчик, мужчинам первыми помазываться положено!

Я огляделся. Флавиан уже стоял посередине храма около иконы преподобного Сергия. Все прихожане степенно, по очереди, подходили к украшенному цветами образу Радонежского Чудотворца и дважды кланялись перед иконой, каждый раз перед поклоном осенив себя крестным знамением. Затем благоговейно целовали святое изображение и, осенив себя крестом, кланялись в третий раз. После лобызания святыни молящиеся подходили к стоящему сбоку от иконы Флавиану, который неторопливо погружал кисточку с красивой резной рукояткой в небольшой золочёный сосуд на маленьком подносике, подставляемом ему стоящим по правую руку от Флавиана Серёженькой, и помазывал благоухающим елеем чело подходящего. Пока шли одни мужчины, женщины сторонились, пропуская их. Влекомый

Клавдией Ивановной, я стал в конец мужской очереди и внимательно приглядывался, как подходят к помазанию более опытные прихожане. Когда очередь дошла до меня, я, как мне кажется, вполне прилично приложился к образу, совершив при этом положенные поклоны, и, сложив, подобно остальным, руки на груди, стал пред Флавианом. Он, добродушно улыбнувшись, широким размашистым крестом помазал меня сперва от верхней части лба до кончика носа, затем справа налево от виска до виска, проговорив при этом: «Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!» После меня к помазанию пошли женщины.

На клиросе что-то читали, но я, несколько ослабив внимание, не вслушивался в слова читаемых молитв. Отойдя в свой уголок, я присел на лавочку и прислонился спиной к прохладной стене храма.

— Лёшенька, миленький, что ж вы к запивочке-то не подошли? Ну ничего, ничего, понятно — не знали! Кушайте, вот я вам хлебушка литийного принесла, кушайте! Вы устали с непривычки, я сичас сама вам за ковшичком схожу!

И, быстро сунув мне в руку влажный, смоченный красным вином кусочек белого хлеба, она с невероятной для своей массы скоростью юркнула за угол.

Я положил этот благоухающий пряным ароматом неизвестного мне вина кусочек хлеба в рот, не торо-

пясь, разжевал его и, уже глотая, подумал: «А ведь Ирке моей в больнице никто, поди, вот так заботливо не принесёт хлебушка, не назовёт миленькой, не приласкает словом и взглядом...» К глазам почему-то подступили слёзы. Тьфу! Неврастеником стать решил, Алёша? Что-то тебя не тянуло прослезиться, когда ты жене изменял да издевался над ней, урод! Раньше надо было переживать, что ты сейчас-то можешь сделать? И правда... что я сейчас могу для неё сделать?

— Держите, Лёшенька, запивочку, пейте во славу Божию!

Я принял из руки Клавдии Ивановны горячий металлический ковшик объёмом чуть меньше чайной чашки, наполненный разведённым в горячей воде вином, быстрыми глотками выпил, по телу начало растекаться расслабляющее тепло.

— Спаси вас Господь, Клавдия Ивановна, за заботу вашу, — искренне поблагодарил я.

— Что вы, Лёшенька, золотенький мой, не за что, разве ж это забота? — не менее искренне удивилась Клавдия Ивановна и снова быстро юркнула за угол, унося пустой ковшик.

Тем временем помазание закончилось, Флавиан, войдя в алтарь царскими вратами, затворил их. Чтение на клиросе, изредка прерываемое короткими песнопениями, продолжалось.

— Клавдия Ивановна! Это ничего, если я на улицу выйду, подышать немного, это не страшно? — ощущая некоторую неловкость, прошептал я.

— Не страшно, миленький, не страшно, помереть без покаяния страшно, а подышать — ничего! Идите, Лёшенька, я вас к славословию позову!

Я тихонечко вышел из храма.

На церковном дворе было тихо и безветренно, мягкий аромат окружающих церковь цветов расстилался повсюду. Ощущая некоторое утомление, я присел на ту же скамейку, на которой мы разговаривали с Дмитрием Илларионовичем, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Мысли мои вновь вернулись к Ирине: «Господи! Что мне надо делать сейчас? Что я могу сделать для Ирины, чтобы хоть как-то искупить свою вину перед ней? Денег я ей дал, но это же не моя заслуга! Я ведь понимаю теперь, что если бы Ты не дал бы их мне, то я не смог бы дать их Ирине. Следовательно, это не моё доброе дело, но Твоя милость ей моими руками. А что могу сделать я сам? Кажется, ничего… Лечить и оперировать её будут врачи, ухаживать — медсёстры. Продуктов там каких принести, так опять же Женька наверняка это сделает лучше меня. А я-то что могу?

— А ты молись за неё, родимый, сугубо молись, — голос, произнесший эти слова, был наполнен любовью и каким-то умиротворением.

Я открыл глаза. Рядом со мной на скамейке сидел церковного вида старичок, с окладистой, совершенно седой бородой в длинной мешковатой одежде из грубой тёмной холстины, держащий в руках деревянный посошок с небольшой перекладинкой наверху.

— Дедушка, простите, я что — вслух разговаривал?

— Ну, вроде того, родимый.

— Дедушка, а что значит «сугубо»? Я только-только к Богу пришёл и многого ещё не знаю.

— Не беда, родимый, узнаешь, главное — что пришёл.

Глаза старичка смотрели на меня кротко и ласково. Какое-то необъяснимое радостное волнение плавно охватывало меня.

— «Сугубо», сыночек, значит «усиленно», «особо старательно» — с сердечным усердием, стало быть. Господь, по человеколюбию Своему, услышит твоё моление и подаст Иринушке твоей здравия душевного и телесного. И Пантелеимона попроси, великомученичка Христова. Он — жалостливый, многих целит и жёнушке твоей поможет.

— Дедушка! А можно вас попросить за Ирину помолиться?

— Помолюсь, родимый, помолюсь и за болящую Иринушку, и за мужа ея Алексия, раба Божия, помолюсь.

— Алёшенька! Скорее, миленький, уже «и ныне» запели, сейчас славословить будут! — Клавдия Ивановна звала меня с паперти.

— Сейчас иду! — отозвался я. — Дедушка... — повернувшись, я обнаружил лишь пустую скамейку, старичок как-то незаметно ушёл.

— Клавдия Ивановна! — подбежав к ней, спросил я. — Вы не знаете старичка, с которым я сейчас на скамейке разговаривал?

— Бог с вами, Алёшенька, я не видела с вами никакого старичка! Вы там один сидели!

— А как же...

— После, Лешенька, миленький, после про старичков поговорим, сейчас идёмте скорее, не то без нас славословить начнут!

Мы торопливо вошли в храм.

Одновременно с нашим вхождением в храме вспыхнули паникадила, загорелись скромные светильники по стенам, воцарилась полная тишина.

«Слава Тебе, показавшему нам свет!» — с искренним детским восхищением в голосе возгласил стоящий в алтаре с воздетыми руками Флавиан.

«Слава в вышнних Богу, н на земли мир, в человецех благоволенне», — тихо, затаённо-радостно зазвучало волнующее душу песнопение.

Я вместе со всеми, стоящими в храме, замер, вслушиваясь в проникновенные слова этого Великого Сла-

вословия, исполненные невыразимой кротости, преданности и смирения:

«Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, величия ради славы Твоея...»

Эти слова проникали в моё сознание, опускались в сердце, которое радостным трепетом отзывалось на призыв славить Любящего и возлюбленного Господа...

«Господи, Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю! Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душе!»

Оттолкнувшись от взволнованно пульсирующего сердца, слова молитвы взлетали к устам, и уже невозможно было удержать их в себе, они рвались наружу, чтобы, хоть в виде робкого шёпота, вознестись к престолу Того, Кому вся Вселенная взывает:

«Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси един свят, Ты еси един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь».

Я пытался осознать и определить, обозначить словом то удивительное состояние, в которое пришли мой ум, душа, чувства во время этой дивной молитвы. И вдруг понял — умиротворение. Оно нежданно сошло на меня, чудным образом примирив во мне ум и сердце, желания и мысли, собрав всё моё естество в единое целое и направив его на восхваление Имени Божьего.

И всё существо моё было охвачено этим сладостным восхвалением и насыщалось, и услаждалось им, и черпало в нём мир, любовь и покой.

Этот неизведанный мною доселе покой, заполнивший всего меня, был настолько драгоценен моей мятущейся в страстях душе, что я застыл, боясь спугнуть его, как застывает человек, мучимый сильной головной болью, поймав то положение головы, в котором эта боль вдруг перестала ощущаться. Страшась потерять счастливую радость этого неземного покоя, стараясь удержать его, как можно дольше, я волевым усилием сковал малейшие движения души и, как сквозь сон, издалека, внимал, как возглашает Флавиан ектении, как хор вздымает могучее:

«Утверди, Боже, святую православиую веру, православиых христиаи во век века!»

Блаженное состояние продолжалось и когда закрылись царские врата, погас свет, и когда все присутствующие в храме, вместе Флавианом, приклонив колена пред святым алтарём, единым сердцем и едиными устами запели дивную мольбу Богородице:

«Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево. Молеиий иаших ие презри в скорбех, ио от бед избави иас, Едииа Чистая и Благословеииая! Пресвятая Богородице спаси иас! Радуйся, Радосте иаша, покрый иас от всякого зла честиым Твоим омофором!»

Небесный покой пребывал в моей душе и тогда, когда Флавиан и с ним молящиеся переместились в правый угол придела к стоящей в глубине резного кивота высокой, ростовой иконе преподобного Сергия со врезанным в неё серебряным мощевичком с частицею святых мощей Радонежского Чудотворца, когда молящиеся вместе с хором начали петь пронзительно-задушевную стихиру — «Преподобне Отче Сергие! Мира красоту и сладость временную возненавидел еси...» и когда, вслед за Флавианом, все начали подходить прикладываться к мощевичку на иконе, а затем под благословение к самому Флавиану, вставшему в нескольких шагах от святого образа.

Я, как и все, пристроившись в конце мужской очереди и тихонько подпевая непрестанно льющееся из множества благочестивых уст: **«Ублажаем Тя, преподобне Отче наш Сергие...»** — подошёл к старинному кивоту, перекрестившись, приложился к тёплому серебру мощевичка, затем, отшагнув в сторону, поднял глаза на просвечивающее сквозь смуглую олифу священное изображение и окаменел, как поражённый громовым ударом.

С иконы всё также кротко и ласково на меня смотрел «старичок», с которым я разговаривал на скамейке.

ГЛАВА 12. МОНАХИНЯ ЕЛИЗАВЕТА

Постепенно я пришёл в себя. Мимо меня всё ещё продолжали проходить уже заканчивающие прикладываться к иконе женщины, по всему храму гасили лампадки, церковь почти опустела. Дождавшись конца очереди, я последним подошёл под благословение к Флавиану.

— Лёша, что-то случилось? — внимательно посмотрев на меня, спросил он.

— Знаешь, отец Флавиан, я, кажется, как бы это сказать, перемолился, что ли...

— А в чём это выразилось? — сосредоточился Флавиан.

— С час назад я вышел посидеть на скамеечке, размышлял о своём, можно сказать — Господа вопрошал. И вдруг ясно слышу ответ, произнесённый вслух. Смотрю, а рядом со мной старичок сидит, благообразный такой, и от него доброта вокруг так и льётся, и вида он какого-то церковного, но не современного.

Поговорили мы с ним немного, а тут меня Клавдия Ивановна к славословию позвала. Я тебя ещё хотел спросить про этого старичка после службы, уж больно он какой-то необычный и добрый. А сейчас подошёл к иконе Сергия преподобного, глянул, а на ней мой старичок изображён и даже в одежде той же самой... Слушай, так бывает вообще, а? Или у меня уже, как это сейчас говорят, «чердак протёк» или «крыша поехала»?

Флавиан помолчал, потом вздохнул:

— Бывает и так, Алексей, бывает... Ты теперь третий, кого я знаю, из тех, кому преподобный Сергий лично являлся, вот как тебе сегодня. Одному в Лавре, в Сергиевом Посаде, он тогда ещё Загорском назывался, вернее — одной, рабе Божьей, и одному здесь. В грех зависти вводишь, брат Алексий, — засмеялся Флавиан. — Я тут одиннадцать лет служу, а такого чуда, по грехам моим, не удостоился, а ты третий день, и на! — сам Игумен земли Русской посещением пожаловал! Ох, и любит же тебя Господь, Алёша!

Он приобнял меня за плечи, встряхнул ласково, видя мою полную ошалелость.

— Посиди тут, подожди, сейчас я разоблачусь и подойду.

Скоро он вышел из алтаря вместе с матерью Серафимой, несшей перекинутым через плечо какое-то тонкое светлое облачение.

— Благословите, батюшка, я вам всё-таки ещё подглажу подризничек на завтра, а то вон низок чуть примялся, не благолепно.

Хорошо, мать, Бог благословит, подглаживай, только сперва чайку нам поставь с Алёшей, мы скоро подойдём.

— Благословите, батюшка!

— Бог благословит!

Флавиан с легким выдохом присел рядом со мной на лавочку, вытянул вперёд ноги, наклонившись, потёр ладонями коленки, поморщился:

— Не было бы дождя завтра, не то помокнем на крестном ходу...

Взглянув на его вытянутые в разбитых войлочных «деревенских» тапочках ноги, я поинтересовался:

— Болят?

— Есть малость. Наша «поповская профболезнь» — ноги: всякие там артрозы, варикозы, тромбофлебиты и пр. Надо же и попам как-то спасаться, хоть ногами поболеть, слава Богу за всё!

Алёш! Ты расскажи-ка поподробней, что за разговор у вас с Батюшкой Сергием вышел?

Я рассказал практически слово в слово. Флавиан сидел задумавшись.

— Батюшка Флавиан, а кто, кроме меня, ещё здесь преподобного Сергия видел, не секрет?

Да нет, не секрет, тем более что того человека здесь и нет уже давно. Лет восемь назад у нас работала не-

большая бригада маляров из К-а, белили церковь известью, попутно подштукатуривая всякие выбоинки да трещинки. Было их четверо: отец за бригадира, два сына и зять, работящие, непьющие, ну и не то чтобы верующие, но и не безбожники, профессионалы хорошие. Младшего из сыновей звали Олегом, год лишь, как из армии вернулся. Хороший скромный работящий паренёк, а в миру себя не находил. Девчонки его как-то не интересовали, гоняться за деньгами да материальным благополучием тоже ему было неинтересно. Его душа просила чего-то большого, настоящего, серьёзного. И надумал он в контрактники в Чечню податься. Родные отговаривают, а он: «Мне за Родину посражаться хочется, кто-то же её должен защищать!» Так и решил: после работы на церкви отдохнуть недельку и — в военкомат. А так как был он парнем ловким и сильным, то отец его на самые высокие и неудобные места работать посылал: барабаны под куполами белить, шатёр колокольни и тому подобные. И вот было это как раз под Сергиев день, я в сторожке сидел, синодики переписывал, маляры колокольню добеливали — к празднику хотели успеть, слышу в открытое окошко: вроде крик и ударилось что-то о землю. Вбегает ко мне бригадиров зять с круглыми глазами, кричит: «Батюшка! Олежка наш убился, с колокольни упал!»

Я выскакиваю, конечно, бегом к паперти, а там Олег лежит на плитах распластанный, над ним отец и

старший брат на коленях, однако, крови не видно. Тут моя Серафима подскочила, оттолкнула мужиков — врач как-никак — давай Олега осматривать да обслушивать. Потом подняла голову, смотрит на отца Олегова и спрашивает:

— А упал-то он откуда?

Тот отвечает:

— Да вон, с самого верху шатра, от второго окошечка, метров с двадцати двух примерно.

Серафима уставилась на меня.

— Ничего, — говорит, — не пойму тогда.

И опять давай Олега осматривать да ощупывать.

Вдруг упавший открывает глаза, улыбается радостно и говорит: «Мать Серафима, батюшка! А как в Посад доехать?»

Мы ему: «Лежи, не шевелись, какой Посад, сейчас «скорую» вызовем!» — мол, мало ли что человек в шоке сболтнёт.

А он — скок, и на ногах стоит! «Не надо «скорой», я весь целенький!» — и улыбается во весь рот.

Но мать Серафима — кремень — заставила-таки свозить в Т-ский травмапункт на рентген — не дай Бог, какие скрытые травмы. Старший брат его на своей «шестёрке» свозил, мать Серафима с ними ездила.

Рентген ему там сделали, осмотрели и с руганью прогнали — с каких, мол, он у вас двадцати двух ме-

тров на каменные плиты упал?! Он и со стула на ковёр не падал! Ни синячка, ни ссадинки!

Вернулись они, сели мы за столом в сторожке чай пить все вместе. Олег рассказал:

— Как я на козырьке оступился, до сих пор и сам не пойму. Я как раз страховку от монтажного пояса отцепил и на неё ведро с известью повесил, чтобы удобнее было местоположение поменять, стал через козырёк переступать... и тут кроссовка соскользнула. Я только успел понять, что вниз лечу, и подумать: «Конец!»

— Нет, Олег, не конец! — слышу. Вижу, что я стою на земле, но не здесь, а в другом каком-то месте, на пшеничном поле, пшеница на нём высокая и васильки яркие между колосьев, и монастырь вдалеке виднеется большой. Колокольню я хорошо запомнил: красивая такая, высокая, голубая с белой отделкой, и купол в виде чаши богатой с крестом. Рядом со мной старенький монах стоит, светленький весь такой, борода белая-белая. Смотрит он мне в глаза, а мне так хорошо-хорошо! Говорит он мне:

— Это не конец, Олеже, это начало другой твоей жизни. Ты воином хочешь быть, Родину защищать — это хорошо. Но на Кавказ тебе ехать — воли Божьей нет. Христу сейчас другие воины нужны. Приезжай ко мне в Посад, я тебя воином Христовым сделаю.

Сказал это, повернулся и пошёл к монастырю через пшеницу с васильками. Я, было, хотел за ним, а тут

меня кто-то толкает, открываю глаза — надо мной мать Серафима, вокруг все вы.

Я с полки икону преподобного Сергия достал, показываю Олегу.

— Он? — спрашиваю.

— Он! — и сияет весь.

— Ну, тогда, — говорю, — бери вот листок бумаги и ручку, пиши, как в Сергиев Посад проехать.

Дня через три они всю работу закончили, рассчитались и уехали. А через полтора месяца мне из Троице-Сергиевой Лавры письмо пришло, коротенькое: «Помолитесь обо мне, батюшка. Принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры. Послушник Олег».

А ещё через три с половиной года — новое: «Помолитесь обо мне, отче Флавиане. Сподобился принять постриг в мантию с именем Сергий, во имя преподобного Сергия Радонежского».

Вот так. Последний раз я виделся с ним в Лавре пару месяцев назад. Отец Сергий уже год как иеродиакон.

— А что такое «иеродиакон»?

— «Иеродиакон» — значит «монах-диакон». Если диакон «белый», то называется просто «диакон», а если монах — то «иеродиакон».

— Подожди, а что значит «белый»?

— «Белый» — значит «женатый». Всё духовенство в Церкви делится на «белое» — женатое и «чёрное» —

монашеское. «Чёрное» — от цвета монашеских одежд. Потому и названия различаются. В белом духовенстве: диакон, заслуженный диакон — протодиакон, священник — иерей, заслуженный священник — протоиерей или протопресвитер. А в монашестве, соответственно, — иеродиакон, архидиакон, иеромонах, игумен, архимандрит. Кстати, высшее духовенство — епископы, поставляются только из монашествующих.

— Тогда, батюшка, объясни мне, малограмотному, что такое монашество, я ведь о нём, как ты понимаешь, только из безбожных книг да фильмов что-то знаю, и то наверняка всё неправильно.

Флавиан помолчал, поглаживая свою седую редкую бороду.

— Монашество, Лёша, — это жизнь такая, особая, с Богом и в Боге. Само название «монах» от слова «моно» — «один», то есть «один на один с Богом». Ещё монахов называют «иноки», то есть — «иной», «не такой, как все».

— Не такой — это значит жениться нельзя и мясо есть?

— Дело не в мясе и не в женитьбе, Лёша, есть и вегетарианцы, и завзятые холостяки, но это не делает их монахами. Монахов называют «земные ангелы, небесные человеки», ещё говорят: «Свет мирянам — монахи, свет монахам — ангелы». То есть жизнь монахов сравнивается с ангельской.

— А в чём же это сходство?

— Сходство в том, что смыслом жизни и ангелов, и монахов, их назначением, является служение Богу и исполнение Его святой воли. Причём и те и другие выбрали этот путь добровольно и сознательно.

— Так что же, все монахи святы, как ангелы?

— Нет, конечно, принятие монашества не залог святости и спасения, нельзя стать святым через совершение над тобою какого-либо священнодействия или принятие на себя обетов. Только в некоторых еретических сектах учат, что если ты стал их членом, то ты уже спасён. Но ведь без труда не вынешь рыбку из пруда, а эта поговорка применима и в деле спасения души. Трудиться же над самим собой, над совершенствованием в заповедях Божьих необходимо всем: и мирянам, и монахам.

— Так для чего ж тогда принимать монашество, если и трудиться надо всем одинаково, да и спастись можно и в миру?

— Вспомни, Лёша, когда ты влюбился в Ирину и начал встречаться с ней, ты ведь оставлял и откладывал другие дела ради встречи и общения с любимой? Почему?

— Ну... потому, наверное, что общение с ней доставляло мне большую радость, чем всё остальное.

— Правильно! Так же и монахами становятся те, для которых общение с Богом является радостью боль-

шей, чем все другие земные радости. В Евангелии Христос говорит притчу о купце, ищущем хороших жемчужин, который, найдя одну жемчужину, прекраснейшую других, продаёт всё, что имеет, и становится её обладателем. Эта притча, можно сказать, напрямую относится к монахам. Есть много «драгоценных жемчужин» и в мирской жизни. Это и радость взаимной любви в христианском браке, счастье видеть выросших в вере и благочестии детей, удовольствия, получаемые от честного труда, от празднования церковных и семейных праздников и ещё многое, приносящее христианину радость сердечную и обогащающее его душу благодатью Святого Духа. Однако есть «жемчужина прекраснейшая» — непрестанная жизнь во Христе, доступная во всей полноте лишь «продавшим всё», то есть отрешившимся от всех забот, страстей и радостей житейских и погрузившимся в глубины богопознания. Это — монашество. Ещё монашество можно сравнить со спецназом в армии. Есть обычные войска, со своим уровнем подготовки и своими задачами, а есть части спецназа, в которых уровень подготовки намного выше, тренировки длительнее и тяжелее, но и задачи, выполняемые спецназом, тоже — особой важности. Так вот, если Церковь называют Воинством Христовым, то монашество — спецназ этого воинства.

— Хорошо, а какие же особые задачи выполняет этот монашеский спецназ?

— В первую очередь, — это молитва за весь мир. Один Господь знает, что было бы со всем нашим миром, во что бы он уже выродился, если бы круглосуточная монашеская молитва не умилостивляла бы правосудие Божье, не низводила бы на наш падший мир Божественную милость и благодать Святого Духа.

Второе — это тот неоценимый монашеский опыт духовной жизни, совершенствования в добродетели и борьбы с падшими духами, который, будучи собран многими поколениями монашествующих, обобщён Святыми Отцами и изложен во множестве боговдохновенных книг Священного Предания. Этот опыт, став доступным миру, является помощью и руководством в духовной жизни всем ищущим духовного совершенства как новым поколениям монахов, так и благочестивым мирянам.

Третье — это непосредственное воздействие на мир примером подвижнической жизни, словом научения, старческим окормлением множества душ достигшими совершенства подвижниками. Не говоря уже о том, что монастыри с древности были центрами грамотности, духовного просвещения и местом, где ищущие укрепления и наставления в благочестивой жизни миряне получали возможность приобщиться к сокровищнице духовного монашеского опыта, обрести утешения в скорбях, а нередко и прозорливое откровение Божьей воли или чудесное исцеление души и тела.

— Ну, в общем, понятно... Ты потому и не женился, чтобы стать монахом и служить только Богу и людям.

— Да нет, не совсем так, сначала я был женат.

— Как? Ты был женат? На ком? А где твоя жена? Что же ты раньше об этом не говорил?

— Да, в общем-то, ты и не спрашивал, да и к слову как-то не приходилось.

— Ну ты даёшь! Прости, может, я не туда лезу, просто мне важно понять, отчего так изменилась твоя жизнь, если для тебя это не слишком болезненно, расскажи!

— Нет, уже давно не болезненно, напротив, даже радостно видеть на своей жизни удивительное проявление Божественного спасительного Промысла. Ты, может быть, помнишь, меня по окончании института распределили в престижный космический НИИ с перспективой серьёзной научной карьеры. И вправду, через полгода я уже руководил группой, работали по очень интересному направлению, я был с головой в работе. Вот в эту нашу группу и прислали на стажировку Валентину, мою бывшую жену. Она была дочкой главного конструктора нашего НИИ, потому её и поставили в лучшую группу конструкторов на перспективное направление.

Я её сначала не воспринимал как девушку, просто — стажёр К-ва, и всё. А она в меня с первого дня

влюбилась, всячески показывала своё расположение, домашними пирожками угощала и т. д. Ну, ей, видно, и папа намекнул, что я сотрудник с будущим, особенно в случае, если на ней женюсь. Короче, на пятом месяце её стажёрства сыграли свадьбу в «Метрополе».

А ещё через месяц мне подарили привезённую из Франции Библию. Я открыл её, со свойственной мне придирчивостью начал читать и... не закрываю до сих пор. Когда я понял, а это произошло достаточно быстро, что там написана Истина, я все силы ума и души бросил на то, чтобы разобраться во всём этом. Разобрался, уверовал в Бога, стал православным христианином. Сперва и жена, и начальство сквозь пальцы смотрели на моё хождение в церковь, соблюдение постов, отсутствие на партсобраниях.

Жена даже одно время подыгрывала, захаживала иногда в храм, носила антикварный крестик, даже согласилась тайно повенчаться, ради романтики. Потом моя растущая религиозность стала надоедать всем. Жена не понимала, почему нельзя ходить в посты по театрам и ресторанам, вступать в супружескую близость, почему я не гонюсь за материальными благами, не хожу с нею в гости к нужным людям, не пробиваю загранкомандировки.

Последнее особенно раздражало её. С учётом возможностей тестя мне достаточно было проявить лишь некоторую активность, и мы поехали бы на полтора

года в Париж, город мечты моей бывшей супруги. А я вместо Парижа тащил её в Псково-Печерский моиастырь, в Троице-Сергиеву Лавру, на Новый Афон, в Никольское к старцу схиархимаидриту Гавриилу, ставшему впоследствии моим духовным отцом и наставившему иа путь священиического и монашеского служения Богу. Словом, дома росла иапряжёииость, иа работе тоже.

Жена стала чаще «отдыхать» без меня в компаииях таких же «элитных детей», ездить по дачам, загородным ресторанам и пр. В какой-то из компаний оиа и встретила молодого фраицузского микробиолога Симоиа, который так очаровался Валеитииой, что, даже зиая о её четырёхмесячиой беремеиности, сделал ей предложеиие и терпеливо ждал, пока уладятся все проблемы с разводом и оформлеиием выезда, и, уже потом, во Фраиции, усыиовил рождёииую Валентиной мою дочку.

— Господи! Так у тебя и дочка есть?!

— Была. Симои с Валентиной достаточио благополучно прожили четыре с половиной года в пригороде столь желанного моей бывшей женой Парижа, он приличио зарабатывал, оиа занималась воспитанием дочки и родившегося уже от брака с Симоном сына. А в восемьдесят шестом, двадцать восьмого августа по иовому стилю, в праздиик Успеиия Пресвятой Богородицы, во время возвращеиия с Лазуриого Берега из отпуска, их машина вылетела иа встречную полосу под грузовик.

Симон и дети погибли сразу, Валентина полторы недели была в коме.

Первое, что она сказала, когда пришла в себя, было: «Позовите мне русского православного священника». Священника позвали, она долго исповедовалась, причастилась. Полностью выздороветь она уже не смогла. Через полгода она умерла в Ш-ском православном монастыре во Франции от кровоизлияния в мозг, успев перед смертью принять постриг.

Если не забудешь, помолись иногда о упокоении приснопоминаемой монахини Елисаветы. Вот и вся история моего брака.

— Да, дела! А ты-то как же?

— А я в тот же год, когда жена развелась со мною, поступил сразу во второй класс семинарии, за год экстерном сдал весь курс, принял постриг с именем Флавиан и... теперь сижу вот здесь с тобою.

— Батюшка! По второму разу чайник закипел! — голос матери Серафимы был сдержанно строг.

— Пойдём, Алексей... — Флавиан со вздохом встал и попереступал с одной на другую на своих больных ногах.

По дороге к выходу я остановился у свечного прилавка, положил на поднос деньги, взял с прилавка книжечку «Поминание», раскрыл на странице «О Упокоении» и на первой строчке написал печатными буквами: «МОНАХИНИ ЕЛИСАВЕТЫ».

ГЛАВА 13. ЛИТУРГИЯ

Вернувшись на ночлег к Семёну, я застал хозяина на террасе, на той же резной табуреточке, ведущим неторопливый разговор с сидящим в «Мотином» креслице Дмитрием Илларионовичем.

— Добрый вечер, Алексей! Знакомься со своим новым соседом по «гостинице», — добродушно приветствовал меня Семён.

— Да мы уже знакомы, Семён Евграфович! Имели удовольствие общаться сегодня. Присаживайтесь, Алексей!

Я присел на услужливо подставленный мне радушной Ниной стул.

— Мы сейчас, Алексей, про шаровые молнии разговаривали с Семёном Евграфовичем, — Дмитрий Илларионович повернулся, чтобы лучше видеть меня, — Семён Евграфович считает их чуть ли не живыми существами, и, возможно, он не далёк от истины, так как природа их до сих пор наукой не объяснена.

— Ну вот, к примеру, Димитрий Илларионович, — заговорил Семён, — был у меня такой случай в молодости с этой самой шаровой молнией. Пошёл я раз на охоту по осени, проходил полдня впустую, брёл потихоньку домой. Пасмурно было, морось в воздухе висела мелкая, холодало. Вышел я как раз на луга, за Гребёнкиным оврагом, и шёл в сторону дома. Глядь, а по полю, метрах в ста от меня яркий бело-жёлтый шар катится по воздуху в полуметре над землёй, мягко так поныривая, как на невысокой волне. Размером, думаю, с колесо уазика будет. И катится этот шар параллельно моему ходу, чуть быстрее, чем я сам иду. Остановился я, стал глядеть на него, он тоже встал. И кольни меня тут шальная мыслишка: достану я этот шарик жаканом с ружьишка-то моего иль нет? Уже, было, и ружьё с плеча стянул. Смотрю, а шар вроде как краснеть стал, совсем как солнце иногда на закате, и в мою сторону пополз. «Ну, — думаю, — что-то тут не то!» Ружьишко обратно на плечо одел, перекрестился и «Отче наш» начал читать. Шар остановился, посветлел опять, потом быстренько так покатился к середине поля, где дуб двухсотлетний стоял, могучий такой. Подкатился он к дубу и как бахнет! У меня за триста метров оттуда аж уши заложило! Полыхнул дуб, как пересушенный стожок жарким летом, минут через двадцать только угольки дотлевали. Подумал я тогда: «А ну как стрельнул бы я?» Испугался, что греха таить... Вот с тех пор

я к этим «шарикам» огненным с большой опаской и отношусь, прямо ведь как будто мысли мои он тогда прочитал, как вот это объяснить?

— Так, наверное, и объяснить, что — прочитал, добрый всем вечер! — невысокий, загорелый парень в военной рубашке без погон, в военных же брюках и ботинках взошёл на терраску.

— Игорь Сергеевич! Приветствую вас, рад вас видеть! — обнял его Дмитрий Илларионович.

— Здравствуй, Игорёк, что давно не был? — протянул ему руку Семён.

— На ученья летали, молодых натаскивали, слава Богу, хоть сегодня вырвался. Игорь повернулся ко мне, протянул руку: «Игорь, будем знакомы!»

— Очень приятно, Алексей. А вы — военный лётчик?

— Лётчик, капитан ВВС.

— А почему вы так про молнии сказали? Вы, наверное, что-то знаете про них?

— Не то чтобы знаю, просто личный опыт имел, собственно, через тот опыт и в Бога уверовал.

— Расскажите, Игорь, садитесь вот сюда, — Дмитрий Илларионович указал Игорю на кресло, в котором только что сидел сам.

— Что вы, Дмитрий Илларионович, ни в коем случае, мне вот здесь, на табуретке, будет удобно! — Игорь присел на невысокий табурет.

— Расскажу, это и вправду интересно. Было это три с небольшим года назад, я только что в здешнюю часть перевёлся. Обычный тренировочный полёт, высота полторы тысячи, отрабатываю манёвр, вдруг из вентиляционного отверстия в кабину влетает шаровая молния размером с крупный апельсин, облетает вокруг моей головы и зависает перед лицом. Что я тут успел передумать, вся жизнь вмиг перед глазами пролетела! Чётко понимаю: отлетался, старлей! Сейчас полыхнет — и всё! И тут заклинание вспоминаю, так я его тогда считал: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас!» У нас его многие лётчики в полку знали и в экстремальных ситуациях читали, говорили — помогало! Причём и верующие читали, и неверующие. Так вот, только я эту молитву произносить начал, шаровая стронулась, опять гермошлем вокруг облетела и — нырь в то же отверстие, откуда появилась. Приземлился я, посидел в кабине и пошёл у поварих в столовой выяснять, где тут церковь поблизости. Так и попал сюда, к батюшке. Вот и понимай, разумная шаровая молния или нет, но молитву она точно понимает!

— Игорёчек, миленький, покушаете с дороги? — Нина по-матерински ласково тронула плечо лётчика.

— Спаси Господи, Нина Петровна! Опоздал немножко! Причащаться завтра собираюсь, а уже первый час ночи! Да я, собственно, и не голоден.

— И то правда, — встал Семён, — засиделись малость, пора опочивать!

Сена на Семёновом чердаке с избытком хватило на троих. Дмитрий Илларионович уснул сразу, лётчик Игорь, поставив подсвечник на заменявшую ночной столик прялку, ещё какое-то время дочитывал свои молитвы. Потом всё стихло.

Ночью я внезапно проснулся. Ощущение нависшей беды охватило меня всего. В мозгу зуммером звенела мысль: «Ирине плохо!»

На сердце стало тягостно до боли, грудь, словно обручем, вжимало внутрь. Я встал со своего сенного ложа, стараясь не будить никого, спустился с чердака и вышел за калитку.

Ночь была дивная: тихая, тёплая, с волнующими запахами трав и цветов из Нининого палисадника. Соловьи заливались безумными серенадами, трещали какие-то букашечки и жучки, пролетая, проухала сова. Мне было тяжко и трудно. Рука механически потянулась к чехлу мобильника на поясе. Чехла с мобильным телефоном не было.

— Тьфу! Он же в машине, в бардачке! Небось разрядился уже!

Я быстрым шагом отправился к церкви.

Мобильник, разряженный, валялся в бардачке незапертой «Нивы». В Москве бы так! Я подсоединил телефон зарядным шнуром к гнезду прикуривателя,

включил, через 09 нашёл и набрал номер круглосуточной справочной Ирининой больницы.

— Миронова? Ирина Витальевна? Одну минутку... Так, сегодня прооперирована, операция прошла успешно, температура в 21.00 была 38,1 — нормально для первого дня, завтра с 11 до 12.30 можете поговорить с лечащим врачом.

— Спаси вас Господи! Большое спасибо! Дай Бог вам всего самого наилучшего!

— Пожалуйста, пожалуйста... всего доброго.

Я вздохнул и прислушался к себе: тягостная тревога не ушла совсем, а сжалась, как бы «заархивировалась», и спряталась где-то в уголке под сердцем.

— Ну ладно! — успокоил я сам себя. — Вроде бы всё в порядке, завтра позвоню доктору и узнаю подробности. Хватит паниковать, пошли спать!

Уснул я почти сразу, и приснился мне сон.

Вроде как я сплю и в то же время проснулся и просто лежу здесь же, на сене, между Игорем и Дмитрием Илларионовичем. И вдруг входит на чердак моя Иришка, моложавая такая, радостная, светится аж, и присаживается около меня на корточки. Смотрит на меня с такой любовью, с такой нежностью, как в первый день свадьбы... Протягивает к моему лицу ладошку, касается моей щеки кончиками пальцев. А я всё вижу, но прикосновения не чувствую, хотя очень хочется эту ласку её руки ощутить. Потом она встаёт,

с такой же нежной улыбкой машет мне рукой и поворачивается уходить. А я хочу её задержать, пытаюсь подняться, кричу что есть силы... а сам, как онемелый и парализованный, ни шевельнуться, ни звука произнести не могу. И такое отчаяние охватывает меня, что сердце просто рвётся на куски, боль нестерпимая... а Ирина уходит и растворяется на фоне окна. Я плачу от безысходности, скрежещу зубами от душевной муки и... засыпаю.

Проснувшись с первыми лучами солнца, я обнаружил, что помню этот сон до мельчайших подробностей.

На дворе у колодца с весёлым фырчаньем и поохиваньем умывались по пояс обнажившиеся Игорь и Дмитрий Илларионович, поливавшие друг друга по очереди из ведра студёной колодезной водой.

— Алексей! С добрым утором! Идите к нам ополоснуться! Чудо что за водичка! — приветствовал меня Дмитрий Илларионович.

— Спасибо, спасибо! Я ещё не созрел до моржа! — откликнулся я.

— Алексей! — вышедший на крыльцо Семён позвал меня. — Ты ещё ничего с утра не кушал, воды не пил?

— Нет, не успел пока!

— И хорошо, что не успел, батюшка тебя велел натощак в алтарь привести.

— В алтарь?!

— В алтарь. Зачем — не спрашивай — не знаю, так батюшка благословил, пойдём пораньше, мне надо в алтаре лампады зажигать. Батюшка небось уже в алтаре, хотя опять до двух часов ночи исповедывал.

И мы пошли в храм.

По дороге, путаясь в своих мыслях, я пытался разобраться в происходящем. Флавиан велел меня привести в алтарь — почему? Ведь алтарь — это самое святое место храма! Я понимаю — Серёженька! Тот — чистый ангелочек! Или тот же Семён — он, хоть и нагрешил в молодости, зато уже много лет ведёт жизнь благочестивую и праведную... А я-то! Только вчера на исповеди вылил на Флавиана всю «канализацию» опоганенной грехами души, показал ему всю свою мерзость и — в алтарь! Хотя, должно быть, у Флавиана есть на это какие-то свои соображения, в общем, ему виднее... А тут ещё сон этот... Надо будет про него спросить у Флавиана...

Я не заметил, как мы подошли к церкви.

Войдя в храм, я, вслед за Семёном, приложился к стоящей на центральном аналое иконе преподобного Сергия, затем поднялся по ступенькам у правого клироса на солею и... замер, не решаясь войти в оставленную для меня Семеном открытой невысокую дверь с изображенным на ней строгим Архангелом.

Видя моё трепетное замешательство, Флавиан, внезапно заполнивший собою весь дверной просвет

своей могучей фигурой в полном облачении, взял меня за руку и, вводя в святой алтарь, негромко произнёс: «Раб Божий Алексий «внидет в Дом Твой, поклонится ко Храму святому Твоему», благослови его, Господи!»

Затем, повернувшись ко мне: «Сделай три земных поклона в сторону святого престола, Алёша». Он указал на стоящий в центре алтаря одетый в парчовые облачения высокий кубообразный престол со стоящей на нём небольшой, высотой в локоть, золотой церковкой. Я трижды поклонился.

— Я хочу, Алёша, чтобы ты сегодня свою первую Божественную Литургию провёл в алтаре. Стой вот в этом уголке, смотри, молись, не пытайся сразу понять головой всё, что здесь будет происходить, потом разберёшься и поймёшь. Просто отключись от всего, что за этими стенами, общайся с Богом своим сердцем, проси Его обо всём самом для тебя важном, в первую очередь, о преображении твоей души Духом Божьим в душу христианскую, могущую вместить в себя Божественную Любовь и нести её в мир.

Я молча встал в указанный мне простенок.

В это время Семён заканчивал зажигать красивые разноцветные лампады на стоящем сразу за престолом высоком бронзовом «семисвечнике». Обтерев руки тряпицей, затем ополоснув их водою из висящего в противоположном от меня углу умывальника и тщательно вытерев их полотняным, с вышивкой, рушником,

Семён взял со столика аккуратно сложенное облачение, повернув его кверху вышитым золотым крестом, и подошёл к Флавиану.

— Благослови, Владыко, во святый стихарь облещись! — Семён, склонив кудлатую голову, протянул своё облачение к священнику.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь! — Флавиан, широким крестом осенив Семёна, положил руку на край стихаря. Семён, благоговейно поцеловав руку Флавиана и крест на стихаре, ловко развернул его и надел на себя, сразу преобразившись в сверкающего витязя.

Дверь отворилась, и в алтарь светлым лучиком скользнул Серёженька, легко положив поклоны престолу, радостно обнявшись с громадиной Семёном, также легонько, словно порхая, благословившись на облачение в стихарь, облачился в него.

Флавиан стоял в левом дальнем углу алтаря, уткнувшись животом в край такого же, как престол, кубообразного стола, тоже облачённого в расшитые крестами парчовые одежды. На этом столе, слева от Флавиана, высилась горка только что испечённых, пахнущих свежестью белого хлеба, просфор, которые Флавиан брал по одной маленьким, похожим на копьё, ножичком, выкрашивал из них мелкие частички на стоящее перед ним золочёное блюдечко, одновременно прочитывая взглядом лежащие перед ним записки с именами

живых и усопших. Затем «вынутые» просфоры складывались им в стоящую рядом на табурете плетёную корзину, изнутри обшитую чистой белой тканью.

Ближняя ко мне боковая дверь алтаря отворилась, и в неё просунулась седая голова управлявшего хором старичка-регента.

— Батюшка! — громким шепотом позвал он. — Благословите Часы начинать, певчие в сборе!

Флавиан перекрестился, вздохнул, набрал в лёгкие воздуха и громко возгласил: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!»

— Аминь! — откликнулся с клироса звонкий голосок Серёженьки. — Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный, Утешителю, душе Истины... — завораживающим упругим ритмом полетело по храму переливающееся взволнованное чтение-пение, как-то легко и в то же время настойчиво мобилизующее внимание слушающих на молитву.

В алтаре запахло ладаном — это Семён поднёс дымящееся кадило к Флавиану и в полупоклоне замер перед ним, держа кадило со снятой крышкой перед собою. Флавиан брал какие-то предметы, крестообразно проводил ими над благоухающим кадильным дымом, затем ставил их перед собою, накрывал их и красивую золочёную чашу вышитыми парчовыми покрывальцами. Затем, взяв у Семёна кадило, кадил всё это, кланяясь и проговаривая вполголоса какие-то молитвы.

Флавиан, потянув за шнур, открыл завесу и, также вполголоса читая какую-то молитву, начал кадить с четырёх сторон престол, затем покрытые им сосуды, светящуюся изнутри стеклянную икону Воскресения Христова, стоящую в кивоте у восточной стены, и все иконы в алтаре.

Кадильный дым был терпким и сладким, в его аромате ощущались смолистые запахи восточных благовоний, этот аромат навевал некое священное волнение, обращал мысли куда-то в древность, в глубины бытия...

Задумавшись, я не заметил, как Флавиан вышел из алтаря, позвякивание его кадила изредка доносилось из храма, робко пробиваясь сквозь звонко-торжественное чтение Серёженьки на клиросе.

Воспользовавшись тем, что Семён подошёл к шкафчику рядом со мной и доставал оттуда какие-то большие, чёрные, похожие на угольные, таблетки, я тихонько спросил его: «Семён! А как называется вон тот второй стол, на котором сейчас сосуды покрывали?»

— Это — жертвенник. К нему, как и к престолу, только священник и диакон прикасаться могут, также как и к сосудам, которые на нём стоят. На жертвеннике батюшка сейчас совершал проскомидию (по-гречески — «приготовление»). Приготовлял, значит, Святые Дары. Сейчас они ещё не освящённые, просто — хлеб и вино, а когда батюшка их на престоле освятит, станут —

Тело и Кровь Христовы. Ради этого освящения, собственно, Литургия и совершается. Ну, и причащения этими Святыми Дарами христиан православных: тех, кто приготовился, конечно.

В это время в алтарь вернулся Флавиан. Он покадил престол крестообразно, со стоны царских врат, и отдал кадило Семёну, который с благоговейным поклоном принял его, поцеловав при этом руку Флавиана. Чтение на клиросе прекратилось, Серёженька незаметно проскользнул в алтарь и встал около Семёна.

Флавиан молча стоял перед святым престолом, опустив голову и закрыв глаза, заметно было, что он сосредоточенно молился.

Но вот он распрямился, глаза его блестели, он воздел руки вверх, словно готовясь принять в них робеющего спрыгнуть с высоты ребёнка, и голосом, слегка прерывающимся от волнения, начал: «Царю Небесный... приди и вселися в ны... устне мои отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою!»

Затем, приподняв над престолом большое старинное Евангелие в чеканном позолоченном переплёте, сотворил им в воздухе знамение креста и возгласил: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков!»

— Аминь! — прозвучало со стороны клироса.

Дальше я рассказать не смогу. Передать то, что происходило во мне и вокруг меня в алтаре во время

Божественной Литургии теми словами, которыми я привык пользоваться, — бессмысленно, всё равно как рассказывать о симфонической музыке на языке глухонемых. Да и надо ли? Это можно только пережить самому. Могу лишь сказать, что я понял, что такое Небо, ибо я там побывал. Я слышал Евангельский голос Бога, я чувствовал присутствие ангелов, я созерцал совершение Безкровной Жертвы священническими руками, я принял в себя Тело и Кровь распятого за мои грехи Христа. Сказать, что я был счастлив — ничего не сказать, мне просто открыли двери в Небо, и я побывал Там. Когда Семён вывел меня из алтаря, чтобы я причастился вместе с другими причастниками, я был удивлён, что есть земной мир и ещё какая-то жизнь. А причастившись, я вернулся в алтарь, и только когда закончивший служение Литургии, молебна и даже уже и панихиды Флавиан разоблачался от священнических одежд, я начал осознавать, что всё ещё способен чувствовать в своём теле земное притяжение. Флавиан молчал, лишь иногда спокойно взглядывая в мою сторону.

— Отец Флавиан! Мне нечем тебя отблагодарить за то, что я получил сегодня... просто я теперь всё понял... прости, я не знаю, как это выразить по-другому. Слава Богу за всё!

— Слава Богу, Алёша, слава Богу!

Мы тихонько вышли из алтаря.

— Батюшка! Мать Серафима зовёт вас к столу, все уже садятся, — Серёженька лучился радостью и любовью.

— Идём, именинничек наш, идём! — Флавиан нежно взъерошил его вихры.

— Отец Флавиан! А можно я не пойду за стол, посижу один в садике за храмом?

— Ну, посиди, посиди, побудь один, я понимаю... Потом вместе чайку попьём.

Я пошёл в сад в ту самую резную беседочку среди жасмина и сирени, где я уже сидел недавно, хотя теперь мне казалось, что с того момента прошла уже не одна жизнь.

Когда я садился в беседке на невысокую скамеечку, что-то в кармане вызвало неудобство. Я привстал, сунул в карман руку и вытащил мобильный телефон. Куда-то мне надо было позвонить? Я механически вызвал последний соединявшийся со мной номер и поднёс трубку к уху.

— Справочная 16-той больницы, чем могу вам помочь?

Какая больница? Чем мне там могут помочь? Ничего не пойму!

— Алло, алло! Вы на проводе? Вас не слышно! Что вас интересует? Я разъединяюсь!

— Подождите! — я вдруг всё вспомнил. — Я хотел узнать, как там Миронова из второй хирургии?

— Миронова? Ирина Витальевна? А вы ей кто?

— Как — кто? Муж! То есть бывший муж, то есть... в общем, у неё всё равно других родственников нет! А что случилось?

— Одну минутку, сейчас я соединю вас с заведующим реанимационным отделением, ждите!

Я тихонько присел, всё ещё не до конца «въезжая» в бурно ворвавшуюся ко мне мирскую жизнь.

— Алло! Вы бывший муж Мироновой? — голос в трубке был до невероятности усталым. — Может, и хорошо, что бывший... Она фактически умерла.

— Как умерла?! Что значит «фактически»?! Что за чушь? Я звонил ночью, всё было нормально!

— Ночью и умерла. То есть формально она пока ещё в коме, на аппаратах искусственных сердца и лёгких, ей льют капельно всё, что положено. Но не хочу вас обманывать — надежды практически нет. Вопрос только во времени отключения аппаратов. Простите за резкость, но вы — мужчина... к тому же, бывший.

— А в чём причина? — я медленно начинал осознавать происходящее, и откуда-то из-под сердца начала прорезаться вчерашняя ночная боль.

— Пока неясно. Ответ может дать только вскрытие. Приблизительно около двух ночи в брюшной полости разошёлся операционный шов. В результате — внутреннее кровоизлияние и остановка сердца. Поздно заметили. В хирургическом отделении на три поста

одна ночная сестра, и та скоро уйдёт из-за этой долбаной зарплаты. Вот так. Можете подавать в суд. Имеете право. Лучше сразу на правительство. Простите. Я ненавижу вот так, бессмысленно, терять больных. Всё. Остальное на месте. Приезжайте.

Через пять минут моя «Нива» с истошным рёвом вылетала из Покровского.

ГЛАВА 14. **ИРИНА**

Ни до, ни после того раза я никогда не ездил так отчаянно. Нет, я почти не создавал риска для других водителей, которых до самой Москвы мне встретилось не так уж и много. Но сам я серьёзно рисковал вылететь юзом на каком-нибудь повороте, снести столб или сжечь двигатель. Это было неправильно, но в тот момент я об этом не думал. Меня гнало вперёд необъяснимое ощущение, что если я успею — а куда или к чему? — то всё будет хорошо и Ирина не умрёт.

Я не мог и не хотел объяснять себе происхождение этого чувства, но оно жгло меня изнутри, и я, вцепившись в «баранку», почти стоял на педалях, выжимая невозможное из неприспособленной к таким гонкам «Нивы». Сердце, под стать мотору, лихорадочно колотилось в моей груди, выталкивая вместе с каждой порцией горячечной крови отчаянное: «Господи! Господи! Господи!»

Примерно через полчаса, когда голова начала приходить хоть в какое-то мыслящее состояние, этот неис-

товый призыв трансформировался уже в какую-то осмысленную речь:

— Господи, помоги!

— Господи, помилуй!

— Господи, спаси Ирину!

— Господи, не оставь меня!

— Господи, не обмани меня!

— Господи, я верю в Тебя!

— Господи, Ты всё можешь!

— Господи, сотвори чудо!

— Господи, спаси Ирину!

— Господи, возьми мою жизнь!

— Господи, отдай её Ирине!

— Господи, Ты ведь любишь нас!

— Господи, не отнимай её у меня!

— Господи, я виноват перед ней!

— Господи, дай мне искупить мою вину!

— Господи, я хочу сделать её счастливой!

— Господи, верни мне её!

— Господи, исцели её!

— Господи, оживи её!

— Господи, спаси её!

— Господи, я люблю её!

— Господи! Господи! Господи...

Повторяясь многократно, эти отчаянные призывы не прекращались до самого конца той безумной гонки. Более того, я не только не уставал произносить, почти

кричать их, но, напротив, они становились всё горячее и сильнее. Всё моё существо словно бы превратилось в это неистовое движение и неумолкающий крик — «Господи!». Казалось, никакие преграды не способны остановить меня.

Остановил меня открытый канализационный люк ровно за один квартал до Ирининой больницы. Торчащие из него ветки с привязанным к ним обрывком красной тряпочки я в горячке не углядел. К счастью, он был сразу за поворотом, и скорость, на которой я влетел в него правым передним колесом, вряд ли достигала больше шестидесяти километров в час. Впрочем, её хватило, чтобы я от удара об руль и лобовое стекло потерял сознание, вышибив при этом водительскую дверь и вылетев на асфальт. Однако без сознания я был недолго, наверное, меньше минуты, так как вокруг меня успело собраться не более десятка человек. Очнувшись, я тут же вскочил на ноги и, оттолкнув преграждающих мне путь зевак, кинулся бежать к видневшемуся невдалеке грязно-белому корпусу больницы, уже на бегу повторяя своё отчаянное «Господи! Господи! Господи!».

С лихорадочной ясностью работающего в форсированном режиме ума я мгновенно разобрался на схеме в вестибюле больницы, где находится реанимационное отделение, и, спотыкаясь на истёртых лестничных ступеньках, мигом взлетел на третий этаж, не обращая

внимаиия иа несущееся мие вслед истошиое: «Туда нельзя! Что вы делаете!»

Едва ие выбив дверь в реанимациоииое отделеиие своим ободраииым об асфальт плечом, я ввалился туда и, сразу же иаткнувшись иа иевысокого, средиих лет мужчииу в зелёном хирургическом костюме под распахиутым белым халатом, шедшего мие иавстречу с какими-то бумагами в руке, задыхаясь, выпалил: «Ради Христа! Не отключайте Миронову от аппаратов!»

— Уже отключили.

Я омертвел, иоги предательски похолодели и обессилели, мне гигантским усилием воли удалось ие упасть. Я оперся рукой о стеиу.

— Вы её бывший муж? Это я разговаривал с вами по телефону. Консилиум врачей принял решеиие о прекращеиии искусствениого поддержаиия фуикций жизнедеятельиости организма ввиду полной безиадёжности реаиимирования пациеита. Спасти её было иевозможио. Искренне сожалею. Что с вами произошло? Вы нуждаетесь в помощи. Пойдёмте со миой в перевязочную.

Я тупо уставился иа иего.

— Спаси вас Господи... Где она?

— В морге. Сейчас патологоаиатом должеи производить вскрытие.

— Мие иужио её видеть. Сейчас. Это возможио?

— Пойдёмте. Я провожу вас.

По другой лестнице мы спустились вниз, вышли во двор.

— Видите вон там, в углу двора, одноэтажное строение? Это морг. Там у входа есть скамейка. Посидите на ней, пока закончится вскрытие. Потом вам разрешат увидеть вашу жену, простите, бывшую...

Я побрёл в указанном мне направлении. Около двери обшарпанного здания из частично позеленелого, серо-бурого силикатного кирпича действительно стояла покосившаяся деревянная скамейка, подпёртая с одной стороны загаженной чугунной урной сталинского образца.

Однако присесть я не успел. Из двери вышла пожилая медсестра в клеёнчатом, местами подранном фартуке поверх застиранного врачебного халата и с непонятным испугом уставилась на меня. Наверное, видок мой внушал лишь подобные чувства.

— Здравствуйте! Я хочу видеть Миронову.

— Здравствуйте. Она вас тоже. Вы ведь Алексей? — женщина перекрестилась.

— Алексей. Простите. Я вас не понял. Она хочет меня видеть? Это такой врачебный юмор? Он несколько не к месту. Подождите! Откуда вы знаете, что меня зовут Алексей?

— Присядьте! Я тоже присяду, — женщина снова перекрестилась, — или я сошла с ума, или есть Бог!

— Бог есть, я это знаю, что произошло?

— Молодой человек, я двадцать восемь лет работаю в этом морге! И только что я в первый раз увидела ожившего покойника. Не успел Михаил Иванович сделать надрез, как ваша Миронова глубоко вздохнула, открыла глаза и говорит: «Доктор! Не надо меня резать! Позовите Алёшу, он идёт сюда! И укройте меня, пожалуйста, мне холодно и стыдно быть голой». Вот так! Господи, помилуй! — Она опять перекрестилась.

Я вошёл, точнее, вскочил в морг, лишь на полминуты опередив ворвавшуюся вслед за мной бригаду врачей. Было ощущение, что сюда сбежалось полбольницы, так рябило от белых халатов. На моих глазах завёрнутую в какие-то простыни, слабо улыбающуюся Ирину перекладывали со стола на носилки, прилаживали ей под локоть какую-то капельницу, подсовывали что-то ей под голову и всё говорили, говорили, возбуждённо, словно на иностранном языке. Когда её проносили мимо меня по коридору, я умудрился воткнуться между «белохалатниками» и дотронуться до Ирининой чуть тёплой, слабо вздрагивающей ладошки. Мы встретились глазами.

— Ира! Я люблю тебя! Бог услышал меня!

Она тихо улыбнулась. По её глазам я понял, что она знает это и, наверное, многое другое, чего не знаю пока я. И ещё я понял, что она тоже любит меня.

Меня оттолкнули.

ГЛАВА 15. **ЧУДО**

Около центрального входа в больницу я увидел вылезающего из фиолетовой «девятки» Флавиана. Он был в епитрахили и поручах, на груди у него висела расшитая бисером парчовая сумочка, размером с ладонь.

— Ну ты и ездок, брат Алексий! Мы с Игорем выехали всего через двадцать минут после тебя, да на «девятке», да и сам Игорь — тот ещё Шумахер. Лётчик — он ведь и в машине лётчик. Думали, догоним тебя за К-ом, а ты вон как выдал! За машину свою не беспокойся: её сейчас Миша, младшенький Семёнов, в одну из своих мастерских на эвакуаторе везёт, у Миши три авторемонтные мастерские в Москве со всякими там мойками, шиномонтажками и «Запчастями». Сделает твою машинку в лучшем виде.

Про Ирину я уже всё знаю, всю дорогу с Николаем Сергеевичем, главным хирургом больницы, по мобильнику связь держал. Он сейчас тоже около неё должен

быть. Велел ждать нам с тобой в вестибюле. Как только можно будет, пойдём к ней, причастим, я вот, — он показал на сумочку на груди, — Святые Дары с собой взял.

Он с радостными искорками в глазах посмотрел на меня, по-детски счастливо улыбнулся, потряс своими мощными ручищами за плечи: «Лёшка, Лёшка! До чего ж дивны дела Господни! Ты представляешь себе, как у врачей сейчас головы трещат? Как из них научный атеизм с диалектическим материализмом вылетают? Это ведь не для тебя одного Господь чудо Иришкиного воскресения сотворил, а для всех, кто с ним сейчас столкнулся! Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение! Слава Господу за всё!»

— Батюшка! Плечо-то отпусти! — скорчившись от боли, простонал я.

— Ой! Прости, Лёшенька, Христа ради, прости! Я и не углядел, что у тебя плечо разбито! Давай-ка попросим врачей тебя обработать! — на лице Флавиана отразилось искреннее сострадание.

— Подожди, батюшка, попозже, давай присядем. Что-то я приустал маленько...

Флавиан, поддерживая под локти, ввёл меня в прохладный вестибюль. Мы опустились на широченный дерматиновый диван, я откинулся на спинку. Немногие посетители пугливо оглядывались на нас.

— Батюшка! Это ведь правда — чудо? Ира ведь вправду была мертва?

— Чудо, Лёша! Истинное чудо! Ты сам видел, как врачи взолновались, значит, было от чего!

— А ты раньше с таким сталкивался?

— Лично — нет, хотя читал про такие случаи много, да с одним близким приятелем, отцом Игнатием из Демьянкино, подобное было.

— А что с ним было?

— Ну, с ним вообще необычный случай приключился. Ещё до настоятельства в Демьянкино служил он на окраине К-а в Погорельцеве, в церкви Вознесения Господня, как раз между больницей и кладбищем. Там даже местная шутка есть: «Способ излеченья в Погорелье прост — из больницы в церкву, оттуда на погост». Жил отец Игнатий в церковном домике, внутри ограды, в соседних комнатках со сторожем. И вот, как-то ночью, стук в дверь. Обычно сторож идёт смотреть — кто там, если срочность до батюшки, тогда зовёт его. Слышит отец Игнатий, бранит кого-то сторож, подумал: «Может, нужно помочь?» Вышел, видит: на крыльце стоит босой мужчина, лет сорока, в синеньком казённом халатике, в трениках драных с обвисшими коленями, небритый, словом, самого бомжового вида. Однако спиртным от него не пахнет. А уж конец октября на дворе, холодно.

— Батюшка! Скажите ему, чтоб завтра приходил! — сторож возмущённо ворчал. — Ишь! Исповедаться ему посреди ночи приспичило!

— Ты откуда, брат? — спросил отец Игнатий.

— Из морга, вон оттуда, — странный мужчина показал рукой на больничный забор. — Меня Матерь Божья всего на два часа отпустила, я седьмое мытарство не прошёл.

Сторож смотрит на него, а сам потихоньку отцу Игнатию пальцем у виска крутит, мол, чокнутый он!

Но отец Игнатий батюшка был всегда не боязливый, посмотрел на ночного гостя. «Заходи», — говорит. Исповедал его как следует, отпустил грехи, даже причастил запасными Дарами, проводил за дверь. Тот ушёл в сторону больницы. А на следующий день пошёл отец Игнатий в морг посмотреть, правду ли ночной гость сказал. Смотрит — и вправду, лежит его исповедник на столе в том же наряде, а бабушка-уборщица ругается почём зря: «Всё студенты-практиканты проклятущие развлекаются! Покойника в мой рабочий халат обрядили и в штаны, которыми я пол мыла! Издеваются над бабкой беззащитной!»

Я встрепенулся: «Отец Флавиан! Это что же, моя Ирина сейчас опять умереть может?!»

— Ирина ваша... здравствуйте, батюшка... теперь сто лет проживёт! — подошедший высокий пузатый доктор с красным лицом и седыми висками из-под зелёной хирургической шапочки, поправил на картошкообразном носу крохотные золотые очки.

— Кроме понятной слабости, у неё все показатели — от давления до энцефалограммы — хоть в космос

посылай. Сердце, как у спортсмена! Это, отец Флавиан, уже ваша компетенция, я этот случай комментировать никак не возьмусь, иначе надо в попы уходить из главных хирургов. Мой диагноз, только это не официально, конечно, однозначно — чудо! Вы бы видели её швы после вчерашней операции: в две недели так не срастется! Можете зайти к ней, она вполне способна к общению, только не переутомляйте сразу, хотя... Делайте, что знаете! Бог с вами! До свидания! — и он уверенной «генеральской» походкой понёс своё пузо с расходящимся на нём накрахмаленным белоснежным халатом в сторону служебного входа.

— До свиданья, Николай Сергеевич! Пойдём, Алёша!

— Скорее, батюшка!

Около палаты толпилось десятка полтора медработников, стоял тихий, но оживлённый гомон. Увидев Флавиана, все расступились, некоторые осеняли себя крестным знамением: «Сюда, батюшка! Проходите!»

Мы вошли в одноместную палату. Справа у стены на широкой, с колёсиками, кровати укрытая под самый подбородок одеялом и пледом лежала так же тихо и счастливо улыбающаяся Ирина. Увидев меня, она выпростала из-под одеял чуть бледноватую руку и протянула её ко мне тем же жестом, что тогда, ночью, на Семёновом чердаке. Я рухнул на колени у кровати, зарылся головой в одеяла на её груди и, не в силах боль-

ше сдерживаться, зарыдал, как ребёнок. Флавиан деликатно отошёл в угол и, отвернувшись от нас, присел у стола.

А я плакал, плакал, обнимая самое дорогое для меня в этой земной жизни существо, плакал о потерянных в греховном болоте годах жизни, о украденной у Ирины и у самого себя любви, о наших загубленных нерождённых детях, обо всём том, что могло бы быть таким прекрасным в нашей с Ириной совместной жизни и чего теперь уже никак не вернуть. Я плакал, а Ира гладила меня по голове, по слипшимся всклокоченным волосам, по ободранному вздрагивающему плечу и тихо шептала: «Лёшенька... родной... Лёшенька... милый...»

Постепенно я успокоился.

— Лёша! А ведь я видела тебя на чердаке, в сене, спящим. Рядом с тобой были два мужчины, молодой и постарше тебя. Знаешь, как «там» удивительно! Батюшка! Подойдите, пожалуйста, вы тоже должны услышать!

Флавиан переставил свой стул к изголовью кровати.

— Вчера, после операции, я пришла в себя ближе к вечеру, вся нижняя часть тела ныла, я позвала сестру, мне вкололи что-то, и я опять уснула. Проснулась я ночью, вижу себя лежащей на кровати с приоткрытым ртом и, кажется, не дышащей. А сама я в то же время

стою посреди палаты, ближе к окну, и мне так хорошо-хорошо! Ничего иигде ие болит, лёгкость необыкиовенная, радость переполияет, и даже созиание того, что я, навериое, умерла, абсолютно не беспокоит! Только когда о тебе подумала, забеспокоилась: как же я теперь тебя увижу? И сразу же иа том чердаке оказалась, так всё быстро произошло, я не успела и опомииться. Подошла к тебе, иаклоиилась, захотелось прикосиуться к тебе, мие даже показалось, что ты глаза открыл и меия увидел, а потом меия повлекло что-то, и я в церкви оказалась, иебольшой, ио очень красивой какой-то... Подходит ко мие старичок в сверкающем священиом облачеиии и говорит: «Здравствуй, Ириа, раба Божия».

А я спрашиваю его: «Дедушка! Вы священиик? Вы тоже сегодня умерли?»

— Нет, — улыбается, — давио уже, да и не умер я, у Бога смерти нет. Ты же и сама теперь видишь. У Бога все живые!

— А что со миой теперь будет? Вы меня в рай отведёте? Или в ад? Я ведь очень грешная!

— Нет, — опять улыбается, — раио тебе в рай, иадо тебе пожить ещё, грехи искупить, муж вот твой за тебя ходатайствовал.

— Алёша? Ои разве тоже умер?

— Нет, — продолжает улыбаться, — ие умер твой Алёша, иаоборот, ожил, к Богу обратился, за тебя молится...

— Дедушка! А что ж мне делать теперь?

— Теперь возвращаться да помнить о том, что у Бога смерти нет, а есть любовь неисчерпаемая! Иди, Ирина, раба Божия, да живи с Богом и с Алексием своим. Вон он. К тебе идёт.

И стал как бы растворяться.

— Дедушка! — кричу. — А вас как зовут?

— Сергий, — говорит, — игумен...

Смотрю, а я во дворе больницы стою, около морга, солнышко светит, а по дорожке ко мне ты, Алёша, идёшь, а я голая стою совсем. Мне стыдно стало, я — нырь в двери морга, в темноту. Открываю глаза, а надо мною доктор склонился с ножиком, большим таким, и в фартуке клеёнчатом.

— Доктор, — говорю, — не режьте меня, пожалуйста, я — живая, и вообще — смерти нет. Укройте меня, пожалуйста, и Алёшу позовите.

Дальше ты сам знаешь. Да! Ещё дедушка Сергий велел, как в себя приду, исповедаться и причаститься. «Я, — сказал, — к тебе священника пришлю». Он вас попросил, да, батюшка?

— Видно, так, Ирочка, а ты меня не узнаёшь?

— Нет, батюшка!

— Ну, тогда ладно, потом поговорим, давай дело сделаем сперва. Алёша! Ты выйди пока и попроси у сестёр кипяточка полкружечки.

Я вышел.

ГЛАВА 16. ЭПИЛОГ

Прошёл год.

Моя фирма выстояла в бурях экономических разборок. Но я из неё ушёл. Я теперь работаю у Григория Семёновича, среднего сына Семёна и Нины, в качестве руководителя отдела. Тоже коммерческого, конечно, но коллектив практически весь верующий, во все церковные праздники — выходной, а главное — атмосфера на фирме очень доброжелательная. И платит мне Григорий Семёнович существенно больше, чем на прежнем месте.

— Это, — говорит, — вам пособие за многодетность.

А Ирочка моя не работает, сидит с детьми, их у нас пять. Все — усыновлённые из Т-го детского дома. Стёпе — пять лет, Леночке — четыре с половиной, Машеньке — три с половиной, Кирюше — два и один месяц, а Юлечке — ровно год. Как мы их усыновляли — отдельная песня, но адвоката Лиду, ду-

ховное чадо отца Флавиана, я хотел бы иметь рядом и на Страшном Суде.

Помогает Иришке с этой оравой мать Евлампия, монахиня, духовное чадо отца Флавиана, бывшая воспитательница детского сада. Справляются.

Квартиры наши мы сменяли на съезд, теперь у нас четырёхкомнатная в Митино, пока хватает, дальше — как Бог даст.

Венчал нас с Ириной, конечно, сам Флавиан, в Покровском. Стол под руководством Нины можете себе представить.

В Покровском у нас теперь свой дом. Марфа Андреевна умерла и, не имея родственников, свой дом завещала нам с Ирой, по благословению отца Флавиана. Так что летом моя семья дышит свежим воздухом, и детки причащаются каждое воскресенье.

Ну, вот и всё, наверное.

Да, чуть не забыл!

Я уже дважды чистил большое паникадило перед праздниками!

Покровское. Август 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ВСТРЕЧА 5
Глава 2. КАТЮША 15
Глава 3. СЕМЁН 34
Глава 4. БОГ 56
Глава 5. МАТЬ СЕРАФИМА 62
Глава 6. ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ 84
Глава 7. ИСПОВЕДЬ 102
Глава 8. ИСПОВЕДЬ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 126
Глава 9. ВСЕНОЩНАЯ 135
Глава 10. ВСЕНОЩНАЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ 148
Глава 11. ВСЕНОЩНАЯ: ОКОНЧАНИЕ 168
Глава 12. МОНАХИНЯ ЕЛИЗАВЕТА 188
Глава 13. ЛИТУРГИЯ 203
Глава 14. ИРИНА 220
Глава 15. ЧУДО 226
Глава 16. ЭПИЛОГ 234

Литературно-художественное издание

Торик Алексаидр, протоиерей

ФЛАВИАН
Повесть

Верстка Н. Поленов

Подписано в печать 20.06.2011.
Формат 70х100/32. Печ. л. 7,5.
Гарнитура Академическая.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 13 000 экз. Заказ 7861

АГИОН ОРОС
agion-oros-press@mail.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал **«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»**
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



– Отец Александр! Скажите, отец Флавиан – это реальная личность?

– Конечно, реальная! Таких "Флавианов" много, просто они не всегда заметны для неопытного глаза, да они и не стремятся быть замеченными. В каждом ревностном пастыре, "душу полагающем за овцы стада Христова", есть такой "Флавиан"! А в герое этой книги сплелись черты разных любимых мною священников: моего первого духовника отца Алексия, первого настоятеля протоиерея Василия, многих других, у кого я учился и до сих пор учусь священному служению Церкви Божьей.

– Отец Александр! А кто главный герой вашей трилогии об отце Флавиане: он сам или Алексей?

– Главный герой моих книг – Любовь.


ISBN 978-5-905462-01-6
9 785905 462016